**АВДОТЯ
ЯКОВЛЕВНА
ПАНАЕВА**

ВОСПОМИНАНИЯ

Авдотья Панаева

Воспоминания

«Public Domain»

1889

Панаева А. Я.

Воспоминания / А. Я. Панаева — «Public Domain», 1889

Воспоминания Авдотьи Яковлевны Панаевой (Головачевой) написаны в конце восьмидесятых годов XIX в. и печатались в Историческом Вестнике (1889).

А.Я.Панаева имела возможность почти ежедневно общаться с замечательными русскими писателями – сотрудниками журнала «Современник». Трудно назвать выдающегося литератора сороковых, пятидесятих или шестидесятых годов, с которым она не была бы знакома. Фет посвящал ей стихи, Достоевский влюбился в нее с первого взгляда, Некрасов воспевал ее в своем творчестве. Но она чувствовала расположение далеко не ко всем...

© Панаева А. Я., 1889

© Public Domain, 1889

Содержание

Глава 1. Наводнение – Декабрьский бунт – Шаховской – Каратыгин – Пушкин – Cholera 1831 года	5
Глава 2. Самойловы – Мартынов – Тальони – Андреянова	18
Глава 3. Кукольник – Щепкин – Глинка – Знакомство с Белинским – Гоголь	29
Глава 4. Казанские помещики – Белинский в Петербурге – Одоевский – Кольцов – Лермонтов – Соллогуб	37
Глава 5. Тургенев – Некрасов – Женитьба Белинского – Аполлон Григорьев – Варламов – Булгарин – Межевичи	49
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Авдотья Яковлевна Панаева

Воспоминания

Глава 1. Наводнение – Декабрьский бунт – Шаховской – Каратыгин – Пушкин – Холера 1831 года

Я родилась и выросла в театральном мире. Мои отец и мать (Брянские) были артисты императорского театра в Петербурге.

Я очень отчетливо помню свое самое раннее детство. В моей детской памяти запечатлелось множество лиц, которых я видела, разговоры, которые я слышала. Я слишком рано стала наблюдать все, что вокруг меня делалось и говорилось взрослыми.

Мы жили в казенном доме, в котором давались квартиры семейным артистам и театральным чиновникам. Контора театра помещалась в том же доме и занимала квартиру в четыре комнаты. Чиновников тогда было очень немного, и я знала их всех в лицо: Зотова – романиста, Марселя, Ситникова и еще нескольких человек, которых фамилии забыла. При театре был доктор Марокети, маленький господин с большими черными глазами, у которого почему-то постоянно качалась голова, как у алебастровых зайчиков.

При вступлении А. М. Геденова в должность директора театров, в 1833 году, театральные чиновники быстро стали размножаться, так что очень скоро из них образовался целый департамент. Киреев, Ротчев, Федоров – водевилист, часто бывали у нас: все они были бедняками и еще не играли той важной роли при театре, как впоследствии. Потом уже Киреев и Федоров сделались богачами, даже писец Крутицкий, которого я видела по вечерам в детстве дежурным в конторе, ходившим босиком, чтобы не износить свои сапоги, – и тот нажил себе дома, дачу.

Казенный дом, где мы жили, был большой: он выходил на Офицерскую улицу, на Екатерининский канал у Пешеходного мостика со львами, близ Большого театра, и в маленький переулочек (не помню его названия), выходивший на Офицерскую улицу. Сначала мы жили в квартире, окна которой выходили на Екатерининский канал; потом отец занимал в этом же доме более обширную квартиру, и уже наши окна выходили в маленький переулок и на Офицерскую улицу.

В день наводнения в Петербурге в 1824 году (7 ноября) я смотрела на затопленные улицы из окон квартиры, выходивших на Екатерининский канал. Хотя мне было немного лет, но этот день произвел на меня такое впечатление, что глубоко врезался в моей памяти. Под водой скрылись улицы, решетки от набережной, и образовалась большая река, посреди которой быстро неслись доски, бочки, перины, кадки и разные другие вещи. Вот пронеслась собачья будка на двух досках, с собакой на цепи, которая, подняв голову, выла с лаем. Через несколько времени несло плот, на нем стояла корова и громко мычала. Все это быстро несло по течению, так что я не успевала хорошенько всматриваться. Но плывшая белая лошадь остановилась у самого моего окна и пыталась выскочить на улицу. Однако решетка ей мешала; она скоро выбилась из сил, и ее понесло по течению. Эту лошадь мне чрезвычайно было жаль, и я не пожелала более смотреть в окно.

Услыхав разговоры теток, что отец едет на лодке спасать утопающих, я побежала глядеть на него в окно во двор. Двор наш тоже был залит водой, поленицы были размыты, и дрова плавали по воде. Отец стоял в лодке и отпихивался багром, направляя лодку к воротам. Я смотрела на бабушку, которая тяжело вздохнула и перекрестилась, когда лодка скрылась в воротах. По ее морщинистым щекам текли слезы. Бабушка пошла на кухню, я последовала за

ней; там сидело несколько женщин с детьми: это были жены статистов, квартиры которых в нижнем этаже затопило водой. Бабушка распорядилась, чтоб им дали поесть, а я вышла в сени, заслышав мычание коровы. На ступеньках лестницы сидели статисты с узлами, с самоварами и образами. На верхней площадке навалены были сундуки, столы, кровати, тюфяки и подушки, а на нижней стояла корова и корзины, обмотанные тряпьем, в них бились и кудахтали куры. Две дворовые маленькие собачки, дрожа, прижались к стене.

Не знаю, кого мне было жаль: людей или собак? Должно быть, собак, потому что я стала их звать к себе, но меня увидела наша прислуга, зачем-то вышедшая в сени, и выпроводила в комнаты.

Это утро показалось мне бесконечно длинным и тоскливым. День был пасмурный, ветер завывал, и раздавалась пушечная пальба. Когда стало смеркаться, я заметила тревогу на лицах старших, – они поминутно смотрели в окна, а бабушка сердито ворчала: «сумасшедший, у самого куча детей!»

Я поняла, что бабушка сердится на отца, и удивлялась – почему она боится за него. Я была уверена, что он не утонет, потому что видела раз, когда мы летом жили на даче, как он в охотничьем платье переплывал большое пространство воды с одного берега на другой, действуя одной рукой, а в другой держа вверх ружье и пороховницу. Наохотясь, он тем же порядком возвращался назад. Мать и бабушка бранили его за это, а мы, дети, были в восторге от такой выходки отца. Однако, тревога старших подействовала и на меня, и я ужасно обрадовалась, когда отец вернулся домой, весь мокрый и иззябший.

Не знаю, от кого отец получил бумагу, где ему была выражена благодарность за спасение утопающих в день наводнения.

У нас постоянно бывали гости, преимущественно статские, а потому на военных гостей я всегда обращала особенное внимание, когда они приезжали к нам. С графа Милорадовича я не спускала глаз; меня удивляла его необыкновенно выпуклая грудь с орденами; его небольшие усы были черные, а коротенькие волосы на голове совершенно другого цвета. Когда он смеялся, то кисточки на его эполетах дрожали. Он играл с отцом всегда на биллиарде. Потом уже я узнала, что он был большой театрал.

Другой военный гость, декабрист Якубович, бывал у нас чаще. Должно быть, он любил детей, потому что постоянно подзывал к себе кого-нибудь из нас. Для детей его фигура была страшна. Якубович был высокого роста, смуглый, с большими черными усами; но главное, что нас страшило, – это черная повязка на лбу, прикрывавшая полученную им рану пулей. Я была из смелых детей, не боялась его, и часто подолгу сидела у него на коленях; он давал мне играть своими часами и чугунным кольцом, которое снимал с пальца.

– Где моя храбрая девочка? – спрашивал Якубович, если не видел меня в комнате.

Якубович постоянно спорил со всеми и очень горячился, когда говорил. Часто, сильно разгорячась, он сдвигал свою черную повязку со лба на волосы, которые у него были черные, густые и стояли дыбом, и я всякий раз рассматривала круглое углубление у него на лбу и даже раз ткнула пальцем в это углубление, чтобы удостовериться, есть ли там пуля. Он очень смеялся и защитил меня, когда тетки накиннулись на меня и хотели наказать за мою дерзость.

Меня никто не ласкал, а потому я была очень чувствительна к ласкам.

День возмущения 14 декабря 1825 г. я также хорошо помню. На лицах у всех взрослых был испуг. Мать и бабушка уговаривали отца не ходить на Сенатскую площадь, но он ушел. Когда у нас задрожали стекла от пальбы, то все пришли в ужас. Наш лакей, побежавший смотреть бунт, вернулся бледный, дрожа всем телом, и рассказывал, что не мог попасть на площадь, потому что она окружена войсками, причем ему говорили, что там убито много народу. Я тоже расплакалась при виде слез бабушки и матери. В этот день никто из старших в семье не садился за обед. Все повеселели, когда отец вернулся домой. Я слушала его рассказ, как убили графа Милорадовича на площади, как стены домов, где стояли бунтовщики, окрасились кро-

вью. Мне сделалось страшно после этих рассказов. Не могу определенно сказать, чрез сколько времени, но что-то скоро, отца и актера Борецкого взяли к допросу; отца продержали с утра до поздней ночи. Все наши домашние были еще в большей тревоге, чем в день бунта. Я не могла заснуть, видя, как бабушка то молилась на коленях перед образом, у которого зажгла лампаду, то горько плакала, уткнув лицо в подушку, то бросалась к окну, заслышав стук дрожек на улице. Отец вернулся домой, а Борецкий лишь через месяц, а может быть и более, возвратился в свое семейство. Отца допрашивали о его знакомстве с Якубовичем. У Борецкого младший брат был офицером в Московском полку и в день бунта ночевал у него.

Я очень любила присутствовать при считке ролей, или при домашних репетициях, которые у нас бывали. Детям запрещено было в это время входить в кабинет отца, где собирались актеры и актрисы, но я заранее пряталась в укромный уголок, между турецким диваном и бюро, и оттуда наблюдала за всеми.

Отец не мог меня видеть, потому что сидел всегда посреди большого турецкого дивана, за круглым столом с развернутою большою тетрадью, я же находилась вдали от него и была закрыта от сидящих на диване актерами и актрисами. У всех в руках были роли; кому приходила очередь читать свою роль, тот выступал на средину комнаты; иногда выступало двое или трое.

Князь Шаховской был мой крестный отец, но это не мешало мне передразнивать его в детской, как он распекал актеров и актрис, когда они читали свои монологи. Детям всегда кажутся в преувеличенном виде рост и полнота в людях, и живот князя Шаховского представлялся мне огромным. Не могу сказать, был ли он в это время директором театра; но он всегда присутствовал на описанных выше собраниях у нас. Лицо у него было широкое, щеки и подбородок висели на белой косынке, обмотанной на короткой и широкой шее. Волосы на его голове были неопределенного цвета, очень жидкие, но длинные. Когда он сердился, что плохо читают стихи, то ерошил себе волосы, и длинные жидкие пряди путались и придавали чрезвычайно смешной вид его лицу. Он слегка шепелявил.

– Ты, миленький, подлец! – подскакивал он к актеру Калинину. – По трактирам шляешься, а роль не учишь!

Калинин каждый день обедал у нас. Он запивал и имел дурную привычку перевирать слова в своей роли. Как актер, он был из плохих и большею частью ему давались маленькие роли.

Молодых актрис князь Шаховской часто доводил до слез, заставляя их по несколько раз начинать свой монолог, и все кричал:

– Читай своим голосом! Пищишь! Ты, миленькая, дурища, уха у тебя нет! Где у тебя размер стиха? В прачки тебе надо было идти, а не на сцену.

Доставалось и В. А. Каратыгину от князя Шаховского. Каратыгин тогда был молод; мне он казался великаном. Выражение лица у него было хмурое, но хмурость еще более усиливалась, когда князь Шаховской распекал его.

– Зарычал, завыл! – ероша волосы, говорил князь Шаховской. – Стой, у тебя, миленький, дурак, каша во рту, ни одного стиха не разберешь! На ярмарках в балагане тебе играть! Повтори!

Каратыгин видимо сердился, но повинился и повторял монолог.

И. И. Сосницкому, молодому тогда еще актеру, тоже немало доставалось от Шаховского.

– Опять зазююкал, миленький, – кричал князь. – Ведь ты с придворной дамой говоришь, а не с горничной, что губы сердечком складываешь. Раскрывай рот!

Только когда читала свою роль Екатерина Семеновна Семенова, Шаховской не останавливал ее, а в длинном монологе, как бы слушая музыку, покачивал в такт головой.

Екатерина Семеновна считалась в то время первой трагической актрисой. Она была тогда уже пожилая женщина, небольшого роста; лицо у ней было продолговатое, строгое. Я нахо-

дила в ней большое сходство с женским бюстом, который стоял у отца на шкафу в кабинете: такой же прямой нос, такие же губы. Мне не нравилось в Екатерине Семеновне, что у нее была маленькая жиденькая косичка на голове, зашпиленная одной шпилькой.

Я помню ее белую турецкую с букетами шаль; тетки восхищались этой шалью и говорили, что она очень дорогая и ее можно продеть в кольцо. Екатерина Семеновна всегда была в этой шали. Она не надевала никаких драгоценностей, но из рассказов теток я слышала, что у нее много бриллиантов и что она очень богата. Я видела у нее только маленькую золотую табакерку с камнями на крышке; она постоянно вертела ее в руках и часто из нее нюхала табак. Тогда нюханье табаку дамами так же было распространено, как теперь курение папирос. Я заметила, что все относились к Семеновой с особенным почтением, да и она держала себя важно со всеми. Приезжала она к нам в своей карете, с ливрейным лакеем. Кажется, она уже была тогда замужем за князем Гагариным.

Ее сестра, красавица Нимфодора Семеновна, тоже выезжала всегда в своей карете и с ливрейным лакеем. У остальных актрис ни у кого не было ливрейных лакеев.

Нимфодора Семеновна не бывала у нас; она была тоже актрисой, но, как говорили, не имела таланта. Не могу сказать, была ли она тогда на сцене, когда я ее видела. Она всегда приезжала на Пасху к заутрени в церковь Театрального училища. Я не сводила с нее глаз – такая она была красавица: высокая, стройная, с необыкновенно нежным цветом лица, с синими большими глазами и, как смоль, черными волосами, в которых блестела бриллиантовая гребенка.

Отец купил у Грибоедов несколько актов его комедии «Горе от ума» для своего бенефиса. Все, в том числе и мать, находили, что отец сделал большую ошибку, заплатив дорого автору; предрекали, что полного сбора не будет, потому что афиша не заманчива. Но их предсказание не исполнилось. За день до бенефиса билеты уже все были разобраны в кассе, и много ливрейных лакеев являлось к нам на дом за билетами, но отец никогда не брал из кассы билетов, чтобы продавать на дому, а также не развозил сам ни кресел, ни лож в свой бенефис богатым театрам и важным особам, что делали все артисты, не исключая В. А. Каратыгина. Был комический актер Величкин, так тот вползал на четвереньках к богатым купцам-театрам, положив билет себе на лысую голову.

В. А. Каратыгин прежде часто бывал у нас; изредка приезжала с ним в гости к нам и его жена. Но потом оба прекратили свои посещения. Моя мать и А. М. Каратыгина были на одном амплуа. Драма «Тридцать лет, или жизнь игрока» делала большой сбор, и ее часто давали на сцене. В этой драме они чередовались. Соперничество поселило между ними вражду, которую раздували закулисные сплетники. Они даже перестали кланяться друг с другом. Не знаю, как Каратыгина, но мать постоянно бранила мужа и жену Каратыгиных и жаловалась, что Каратыгин играя с ней, нарочно пропускал реплики, чтоб сбивать ее, становился не на ту сторону, куда следовало, и т. п. Раз мать вернулась со спектакля в слезах: по наущению Каратыгиных, ей подставили надломленную скамейку, сидя на которой ей нужно было читать большой монолог. Очень может быть, что Каратыгины не были причастны к этому делу, а был просто недосмотр бутафора.

Отец и В. А. Каратыгин являлись изумительным в театре примером: в продолжение 30-ти лет они одевались в одной уборной, хотя каждый из них имел право требовать себе отдельную уборную. Никогда между ними не было никаких ссор, несмотря даже на то, что их жены были во вражде между собой.

Я не слыхала, чтоб отец, приехав с репетиции или со спектакля, передавал закулисные новости, – а их всегда бывает много. Он был равнодушен, если Каратыгина вызывали лишний раз сравнительно с ним. Отец ни с кем из артистов не ссорился, да и особенной дружбы не водил. Он ни к кому никогда не ходил в гости, а у него все бывали. Часто отец, приехав после спектакля, находил у себя множество гостей, играющих в карты на нескольких столах. Мать не могла обойтись вечером без карт. Отец, поужинав, отправлялся спать. Он был ленив по натуре

и любил спокойствие. Он даже до непростительности отдалял от себя все заботы о детях; мать самовластно распоряжалась всем. Рассказывали, что отец в молодости был очень горяч и в гневе ничего не помнил. Вследствие этого, мать не позволяла ему вмешиваться в воспитание детей.

Мне кажется, что отец потому относился так равнодушно к закулисным интригам, что у него слишком много было других интересов. Он был страстный охотник и считался лучшим стрелком в Петербурге. Тогда окрестные острова были пустынные, и водилось на них очень много дичи. Летом он ездил на эти острова охотиться; у него была своя лодка, и на все лето нанимался гребец. Зимой отец ездил на медвежью охоту и на лосей и всегда возвращался с добычей. Он сам дрессировал своих собак. Одна собака была у него огромная, и он очень ею дорожил, но она так была зла, что постоянно сидела на цепи в кабинете и если срывалась с цепи, то все домашние запирались от нее и ждали возвращения отца из театра, чтобы посадить ее опять на цепь. Отец сам выводил Алмазку прогуляться по двору, при чем заранее всех извещали, что Алмазку сейчас выпустят, тогда люди прятались, а остальные собаки, поджав хвост, ложились на спину, в ужасе ожидая смерти. Много хлопот и денег стоила отцу эта злая собака. Алмазка была так зла, что рычала на отца, когда он ее бил, и держалась постоянно в ошейнике с внутренними гвоздями. Нас, детей, она не допускала к себе, да и мы сами не смели приближаться к ней. Но она полюбила поваренка лет 13-ти, которого к себе взял в обучение наш повар. Этот мальчик делал с ней, что хотел, катался на ней верхом, изо рта брал у нее кость, и она только лизала его руку.

Однажды Алмазка бросился на мать и чуть не укусил ее; только тогда отец расстался с своей злой собакой. К нам ездил охотник из города, который занимался дрессировкой охотничьих собак и был зажиточный человек; он выпросил у отца Алмазку; отец его предупреждал, чтоб он был осторожен с ней. Охотник обидчиво отвечал:

– Помилуйте, Яков Григорьевич, двадцать лет дрессирую собак – и не справлюсь с вашим Алмазкой?! Я его вышколю так, что он у меня будет шелковый.

Через месяц этот охотник явился к отцу с перевязанной рукой.

– Что, брат, верно Алмазка поцеловал у тебя руку? – спросил отец.

– Зато же ему и досталось от меня, отучится кусаться! – отвечал охотник.

– Алмазка злопамятная собака, никогда не снимай с него ошейника с гвоздями, когда будешь бить его, – опять предостерегал отец охотника.

Охотник, вероятно, не послушался совета отца, и Алмазка на охоте так изгрыз его, что он долго хворал и умер.

Отец любил певчих птиц, у него было много дорогих жаворонков и соловьев. Он сам насвистывал им мотивы, закрывая клетку зеленым коленкором.

В карты отец не любил играть, а был искусный бильярдный игрок. В Петербурге был известный бильярдный игрок маркер Тюрю; с ним отец иногда устраивал у себя партию, и многие любители бильярда приезжали смотреть на их бильярдный поединок, держали большое пари кто за отца, кто за Тюрю. Очков вперед они не давали друг другу, а кидали жребий, кому начинать. Случалось, что, кто первый начинал, тот и выигрывал партию.

Тюрю был невзрачной наружности, маленького роста, с каштановыми волосами, остриженными в кружок, с жиденькой бородкой, одевался бедно, ходил в поношенном длиннополом сюртуке, с намотанным на шее бумажным платком и в высоких сапогах с кисточками.

Этого Тюрю я потом видела остриженного, завитого, расфранченного, в светло-синем фраке, с бриллиантовым перстнем на указательном пальце. Он выиграл несколько сот тысяч злот в польскую лотерею; но очень скоро прокутил их, потому что его окружили приятели, которые втянули его в азартную игру в карты, подбивали жить барином, задавать пиры. Тюрю обижался, что отец не приезжал к нему на его пиры.

– Хоть бы раз посмотрели, Яков Григорьевич, как я теперь живу-с, – сказал Тюря, приехав раз в коляске приглашать отца на обед к себе.

– Зачем мне ехать к тебе, я и так вижу, что ты дурак-дураком сделался, – отвечал, отец.

Наконец, приятели обыграли и обобрали его. Долгое время после этого Тюря не был у нас, но вдруг явился к отцу и стал просить его сыграть с ним партию на большие деньги, тогда как прежде партия всегда шла на пустяки.

– Вы думаете, Яков Григорьевич, что у меня денег нет? Да у меня теперь втрое больше стало, я ведь опять выиграл в польскую лотерею, на днях должен получить свой выигрыш.

Отец смекнул, что в голове у Тюря что-то не ладно.

– Когда получишь деньги, тогда и сыграем, – ответил он, – а теперь некогда.

– Я вам дам расписку, если проиграю, и сейчас же уплачу, как получу деньги. Я честный человек, Яков Григорьевич.

– Верю, приходи в другой раз. Но Тюря не уходил и говорил:

– Я теперь проучен. Все деньги вам отдам на хранение, вы выдавайте мне проценты, а если я потребую у вас из капитала, гоните меня в шею.

Отец насилу выжил от себя Тюрю; он все твердил о миллионе злотых, которые выиграл. Скоро пришло известие, что Тюря уже сидит в сумасшедшем доме.

Артист Куликов написал о Тюре водевиль в трех актах под названием «Ворона в павлиньих перьях».

Однажды к отцу явился приезжий молодой белокурой купчик, очень красивый, почти такого же большого роста, как В. А. Каратыгин, но лучше сложенный. Этот молодой купчик из провинции бежал от богатых родителей, питая непреодолимую страсть к сцене. Он знал, что богобоязненный отец лишит его наследства, если он сделается актером, но не мог побороть своей страсти к сцене.

Купчик знал наизусть много монологов из ролей Каратыгина. Отец никому не отказывал в помощи поступить на сцену, если только это не была совершенная бездарность. Купчик обладал громким голосом и чуть ли не думал, что в этом только и заключается вся сила сценической игры. Отец, проходя с ним роль, которую купчик разучивал для своего дебюта, останавливал его, чтобы он не орал.

Мать была очень довольна, что готовится соперник на сцене Каратыгину. Она принимала большое участие в дебюте купчика, который, кажется, выбрал себе фамилию Мстиславского или Ростиславского, что-то в этом роде. Дебют Мстиславского удался, ему много аплодировала публика и два раза его вызвала. Театралы-купчики поддержали дебютанта. Мать торжествовала, потому что ей передавали, что Каратыгины от злости захворали.

На другой день явился к нам дебютант с необыкновенно гордым видом и передавал отцу, что его игру нашли лучше В. А. Каратыгина.

– Далеко кулику до Петрова дня! – отвечал отец. – Сначала поработай над собой, как работал Каратыгин, да и то, брат, не с твоими мозгами быть хорошим актером!

Мстиславский очень обиделся на отца. Дебютанта приняли на театр, благодаря хлопотам моей матери. Не знаю, как теперь, но прежде богатые купцы-театралы считали своею обязанностью спаивать молодых актеров. Мстиславский кутил с ними постоянно, вообразив, что учиться ему уже не нужно. Играл он очень редко; говорили, что В. А. Каратыгин сильно интриговал против него, что, при всей своей скупости, он сделал обед чиновникам, чтобы не давали тех трагедий, в которых играл Мстиславский.

О скупости Каратыгина постоянно ходили анекдоты за кулисами. Рассказывали, что Каратыгин из экономии никогда не надевал перчаток в роли Чацкого, а только держал их в руках, и одна пара служила ему 10 лет.

Не могу сказать, сколько времени Мстиславский находился на сцене, но что-то не долго. Он совершенно спился. Раз вечером мы сидели за чаем с тетками, отец и мать были в театре. Вдруг в комнату вошел Мстиславский.

У него было такое страшное лицо, что тетки перепугались.

– Я пришел взять ружье у Якова Григорьевича, – сказал он, ни с кем не поздоровавшись. – Вы, вероятно, уж знаете, что меня хотели отравить. Я трое суток ничего в рот не брал, так в рукомойник подсыпали яду... Теперь убить меня хотят, всюду за мной ходят убийцы. Сейчас явятся сюда, но я нарочно сюда пришел, чтобы взять ружье у Якова Григорьевича, и как только они появятся...

Мстиславский прицелился, будто держит ружье, гаркнул «Пиф-паф» и разразился диким смехом.

– Каратыгин останется с носом, пропадут его денежки, которые он дал убийцам.

Тетки и мы сидели в страхе. Когда Мстиславский пошел в кабинет, мы поспешили послать лакея в театр за отцом. Мстиславскому, вероятно, не удалось снять ружье со стены, Алмазка помешала, он вернулся в залу и расхаживал по комнате, читая монологи.

По счастью, был антракт, и отец приехал, в костюме. Он взял сумасшедшего с собой и сдал в полицейскую часть, которая находилась против нашего дома, в маленьком переулочке.

Мстиславский вскоре после этого умер.

Балетмейстера Дидло мать принимала с особенным почетом. Для него готовился всегда какой-то французский суп к обеду и покупалось дорогое белое вино. Дидло, несмотря на долгое пребывание в Петербурге, говорил плохо по-русски. Он был уже старик, худой, но необыкновенно подвижной. Нос у него был предлинный. Я всегда отыскивала сходство в людях с зверями или птицами, и Дидло, мне казалось, походил на дупеля. У Дидло были светлые, но сердитые глаза, он постоянно кусал свои тонкие губы, и его всегда нервно передергивало. Я его терпеть не могла, зная, что он бил воспитанниц и воспитанников в театральном училище. Когда они ехали на репетицию балета или шли на его урок, то крестились и молили Бога, чтобы не испробовать палки Дидло на своей спине и на носках.

В театральной школе воспитывались младшие сестры моей матери; мы часто ходили туда с тетками навещать их. Я видела, как девочки возвращались из класса танцев в слезах и показывали синяки на своих ногах и руках.

В это время Дидло уже не позволяли ставить свои балеты с полетами маленьких воспитанниц и воспитанников, потому что случались несчастья во время спектакля. Раз канаты лопнули, и бедные дети упали с значительной высоты, страшно ушиблись, а некоторые сломали себе – кто ногу, кто руку.

Дидло ужасно был смешон, когда стоял за кулисами и следил за танцовщицами и танцорами на сцене. Он перегибался, улыбался, семеня ногами и вдруг начинал злобно топтать такт ногой. А когда танцевали маленькие дети, то он грозил им кулаками, и беда им была, если они путались, составляя группы. Он набрасывался на них за кулисами, как коршун: кого схватит за волосы и теребит, кого за ухо, а если кто увертывался от него, то давал ногой пинки, так что девочка или мальчик отлетали далеко. И солисткам доставалось по окончании танца. При шуме рукоплесканий счастливая танцовщица убегала за кулисы, а тут Дидло хватал ее за плечи, тряс из всей силы, осыпал бранью и, дав ей тумака в спину, выталкивал опять на сцену, если ее вызывали.

Часто Дидло гонялся за кулисами за танцовщицей, которая из предосторожности убегала со сцены в противоположную сторону, где он стоял, и пряталась от него. Взбешенного Дидло отливали водой.

Когда пронесся слух, что Дидло выходит в отставку по неприятностям с Гедеоновым, то школьные его ученики, ученицы и кордебалет с нетерпением ждали того счастливого часа, когда простятся с ним и с его неразлучной падкой. Как хороший балетмейстер и учитель, Дидло

пользовался известностью; он привык к почету и не позволял никому вмешиваться в свою часть, а Гедеонов, с своей стороны, хотел доказать, что он полный властелин в театре и что никакие заслуги, никакой талант для него не существуют.

Моя мать сильно хлопотала, как бы поторжественнее устроить овацию Дидло в его прощальный бенефис. Я знала заранее всю программу оваций, которые будут сделаны Дидло, – сколько венков будет поднесено ему, какой будет прочитан адрес от почитателей его таланта и заслуг. Я знала, что все неучаствующие в балете танцоры и танцорки, даже те, кто уже был на пенсии, выведут его на сцену при первом вызове и т. п.

Я с сестрами, тетками и матерью сидела в ложе в день бенефиса Дидло. Не помню, который из его балетов шел. После первого акта стали вызывать Дидло; он вышел и за ним двинулась толпа танцоров и танцорок, весь кордебалет и все участвующие воспитанники и воспитанницы школы. При громе рукоплесканий Дидло подали из оркестра два большие венка и один маленький. Одна из солисток возложила его на голову Дидло. После прочтения адреса одним из молодых актеров, все на сцене стали прощаться со стариком. Целовали Дидло, обнимали, а дети-ученики целовали у него руки. Это для меня было неожиданным зрелищем. Аплодисментам и вызовам не было конца.

Моя мать пошла на сцену в антракте, и я последовала за ней; но там происходила другая сцена: Гедеонов кричал, что он всех оштрафует за то, как смели без его позволения выйти на сцену.

Мать крупно побранилась с Гедеоновым, и он ей сказал, что если б у нее не было детей, то он ее арестовал бы, но она ему отвечала со смехом:

«Попробуйте, Александр Михайлович, это сделать!»

Волнение за кулисами было страшное, когда Гедеонов отдал приказание, чтоб никто не смел выходить на сцену, когда будут вызывать Дидло; но его не послушались: танцоры и танцорки на пенсии выводили Дидло; да они и были старику необходимы, потому что он так ослабел от волнения, что его надо было поддерживать.

В моем детстве артистам не подносили ни букетов, ни венков, ни подарков. На другой день после бенефиса от государя присылался подарок на дом: первым артистам – бриллиантовый перстень, артисткам – серьги или фермуар.

Моду подносить букеты и подарки ввели иностранные танцовщицы, появившиеся на петербургской сцене. Хотя обыкновенно говорят, что публика поднесла артистке подарок или букеты, но публика тут ни при чем. Инициатива всегда идет от одного лица, – друга артиста, его родственников, или от обожателя артистки. Если последний небогат, то им собирается подписка на подарок за целый месяц до бенефиса артистки. За кулисами отлично знают, от какого лица получен подарок и цветы в день бенефиса артиста или артистки.

Всем заранее было известно, что один артист получит в свой бенефис два венка и два букета от своих родственников и что в его уборной широкие ленты снимутся и аккуратно сложатся, чтобы их за полцены отвезти в лавку Гостиного двора, где они были куплены; все же экономия для родственников! Один артист сам себе докупал венки и раздавал своим друзьям, чтоб они ему их подносили в бенефис.

Публика очень любит присутствовать при поднесениях цветов и подарков артистам и щедра бывает на аплодисменты. Я никогда не видала такого обилия цветов, каким была заброшена танцовщица Смирнова.

Она была одного выпуска с Андреяновой, которой театральные балетоманы постоянно страшно шикали.

Это было их мщение Гедеонову, который особенно был расположен к Андреяновой. На Гедеонова были злы молодые зрители первых рядов кресел за то, что он принял строгие меры к недопущению их стоять у театрального подъезда, когда после спектакля воспитанницы садились в кареты и переговаривались с ними. Гедеонов дал приказание своим чиновникам сопро-

вождать кареты воспитанниц до школы, чтобы они не могли из окон говорить с своими обожателями, ехавшими рядом. Чиновников обожатели оттискивали от окон кареты, а одного чиновника, более ревностного, вывалили из дрожек в грязь. После этого одно время кареты воспитанниц сопровождали конные жандармы.

У Смирновой была сильная партия. М. Л. Невахович – карикатурист – содержал ее, а потом женился на ней. Этот Невахович чуть ли не первый начал издавать еженедельные листы карикатур, под заглавием «Ералаш». Неваховичей было два брата и они имели большой капитал, но очень скоро его прожили. Старший брат был женат на русской певице, я забыла ее фамилию; когда он был женихом, то рвал сторублевые ассигнации ей на папильотки. Прожив все деньги, старший Невахович сделался театральным чиновником. Он был гораздо старше своего брата карикатуриста, и до его совершеннолетия успел прожить большую часть и его денег.

Чуть не в каждом номере «Ералаша» в карикатурах фигурировал Гедеонов, театральные чиновники, в том числе брат Невахович, и Андреянова. Невахович был остроумен и иногда подбирал очень удачные подписи под карикатурами. Все молодые балетоманы примкнули к Невахович. Раз шел балет, где Андреянова танцевала первую, а Смирнова незначительную роль.

Молодежь из партии Невахович узнала, приехав в спектакль, что театральные чиновники приготовили Андреяновой букет. Сейчас же запаслись букетом и для Смирновой; чиновники, проведав это, купили еще другой. Тогда партия Невахович, соблюдая все предосторожности, чтобы не проведали чиновники, запаслась двумя платяными корзинами цветов, заняла две литерные ложи вверху, а всех знакомых, кто сидел в боковых ложах, просила бросать букеты Смирновой. Партия Смирновой торжествовала, шуму в партере было много.

Как танцовщица, Андреянова была лучше Смирновой, потому что танцевала с одушевлением и наружность имела красивее. Смирнова же была безжизненная и очень некрасива. Благодаря враждебным отношениям партии, обе они сделались выдающимися танцовщицами; без этого их сценическое поприще было бы очень скромное.

Заговорив о балете, кстати упомяну и о танцовщице Истоминой, ученице старика Дидло, о которой Пушкин упоминает с восторгом в «Евгении Онегине».

Я видела К. И. Истомину уже тяжеловесной растолстевшей, пожилой женщиной. Желая казаться моложавой, она была всегда набелена и нарумянена. Волосы у нее были черные, как смоль; говорили, что она их красит. Глаза у Истоминой были большие, черные и блестящие. У нас она прежде не бывала, но теперь приехала просить отца приготовить к дебюту воспитанника Годунова, рослого, широкоплечего, с туповатым выражением лица юношу. Она покровительствовала ему.

Постом, в театральной школе, перед выпуском, устраивались спектакли для выпускных воспитанников, в присутствии Гедеонова, чиновников и родственников играющих воспитанников и воспитанниц. Давалось по одному акту трагедий, опер и водевилей. Истомина выхлопотала, чтобы Годунову дали роль в трагедии для того, чтобы при выпуске он мог получить побольше жалованья.

Отец прямо сказал Истоминой, что Годунов самый бездарный юноша. Истомина не поверила и обратилась к В. А. Каратыгину. Не знаю, правда ли, будто Каратыгин получил от Истоминой значительный подарок за свои занятия с Годуновым. Отец никогда не брал денег ни с кого, кто обращался к нему с просьбой подготовить к сцене; все это знали, и никто не смел делать ему подарки.

Годунова выпустили из школы с окладом жалованья наравне с талантливыми воспитанниками: Истомина не жалела денег на подарки чиновникам.

Вскоре после этого Истомина вышла замуж за Годунова, и он быстро растолстел. Его лицо лоснилось от жиру. Когда он сидел в ложе со своей супругой, то самодовольно на всех

посматривал, потому что сиял бриллиантами: шарф у него был заколот бриллиантовой булавкой, на рубашке и даже на жилете пуговицы были бриллиантовые. Он не надевал перчатку на ту руку, на пальце которой было надето кольцо с большим бриллиантом. Но не долго Истомина наслаждалась своим поздним супружеским счастьем; ее здоровяк-муж схватил тиф и умер. Неутешная вдовица воздвигла дорогой памятник во цвете лет умершему супругу и даже собиралась поступить в монахини.

Случилось похищение выпускной воспитанницы Кох из театральной школы. Смятение было ужасное. Она исчезла во время ужина, отказавшись от него под предлогом головной боли, и осталась одна в дортуаре. Директор, инспектор школы, все театральные чиновники, старушка-директриса, все классные дамы – пришли в ужас, потому что всем было известно, что Кох обратила на себя внимание очень важной особы.

Однако все благополучно выпутались из этой истории. Остались виновными только безгласная старушка-директриса да сторож у ворот. Их отставили от службы. Похититель долго укрывал Кох в своих имениях, несмотря на строжайшее приказание государя Николая Павловича разыскать и его, и похищенную. Наконец, похитителя нашли – это был князь Вяземский. Его посадили в крепость. Какое наказание постигло Кох – не знаю.

П. С. Федоров, водевист, до похищения Кох был незначительным чиновником при театре. Он сочинил юмористические куплеты, положил их на музыку и пел у нас. После каждого куплета повторялось: «Ох, убежала Кох». Он так ловко подстроил, что начальство не подозревало, что он сочинитель этих куплетов, а приписывало их одному театралу. В этих куплетах упоминалось все театральное начальство.

Театральная школа находилась через дом от нас, на Екатерининском канале. Влюбленные в воспитанниц каждый день прохаживались бесчисленное число раз по набережной канала, мимо окон школы. Воспитанницы помещались в третьем этаже, а воспитанники во втором. До похищения Кох не было таких строгостей в школе, как потом. Воспитанницы постоянно смотрели в окна и вели счет, сколько раз пройдет обожатель, и мера влюбленности считалась числом прогулок мимо окон.

Пушкин тоже был влюблен в одну из воспитанниц-танцорок и также прохаживался одну весну мимо окон школы и всегда проходил по маленькому переулку, куда выходила часть нашей квартиры, и тоже поглядывал на наши окна, где всегда сидели тетки за шитьем. Они были молоденькие, недурны собой. Я подметила, что тетki всегда волновались, завидя Пушкина, и краснели, когда он смотрел на них. Я старалась заранее встать к окну, чтобы посмотреть на Пушкина. Тогда была мода носить испанские плащи, и Пушкин ходил в таком плаще, закинув одну полу на плечо.

Не могу определенно сказать, сколько времени прошло после того, как прогуливался Пушкин мимо наших окон; но, однажды, в театре, сидела я в ложе с сестрами и братьями и с одной из теток. Почти к последнему акту в соседнюю ложу, где сидели две дамы и старичок, вошел курчавый, бледный и худощавый мужчина. Я сейчас же заметила, что у него на одном пальце надето что-то вроде золотого наперстка. Это меня заинтересовало. Мне казалось, что его лицо мне знакомо. Курчавый господин зевал, потягивался и не смотрел на сцену, а глядел больше на ложи, отвечал нехотя, когда с ним заговаривали дамы по-французски. Вдруг я припомнила, где я его видела, и, дернув тетку за рукав, шепнула ей: «сзади нас сидит Пушкин». Я потому его не сразу узнала, что никогда не видела его без шляпы. Но Пушкин скоро ушел изложи. Более мне не удалось его видеть. Уже взрослой я узнала значение золотого наперстка на его пальце. Он отрастил себе большой ноготь и, чтоб последний не сломался, надевал золотой футляр.

Актер А. М. Максимов был в последнем классе театральной школы и ходил к отцу учиться дикции. Отец его отучал растягивать слова и говорить в нос. Он скоро приобрел расположение публики, играя в водевилях.

Я помню, что, когда ставили «Ревизора», все участвующие артисты как-то потерялись: они чувствовали, что типы, выведенные Гоголем в пьесе, новы для них, и что эту пьесу нельзя так играть, как они привыкли разыгрывать на сцене свои роли в переделанных на русские нравы французских водевилях.

После смерти Н. О. Дюра, Максимова дали роль Хлестакова; он явился к отцу, чтобы тот его прослушал.

Когда Максимов прочел свою роль, отец сказал ему:

– В глупом водевиле кривлянье не хорошо, а в такой комедии актера надо высечь. Ты запомни это.

Максимов в молодости был бы недурен собой, если б его лица не портил большой рот и скверные зубы. Говорили, что у него чахотка, когда он еще был в школе; но ошиблись. Максимов смолodu очень кутил с богатыми своими приятелями-театралами, но прожил долго. Женился он на танцовщице Аполинской или Полинской, как только ее выпустили из школы, и получил за ней приданое, выданное ей от дирекции театра, – 40 тысяч. Впрочем, не могу наверно определить цифру. Эти выдачи приданого достались только двум танцовщицам: той, на которой женился В. В. Самойлов, и жене Максимова. Такое счастье, впрочем, обуславливалось особыми причинами.... Прочие артисты, женившиеся на воспитанницах театральной школы, не получали даже пособия на свои свадьбы.

Две танцовщицы, награжденные приданым, не были выдающимися артистками, но пользовались большими привилегиями при театре и получали хороший оклад жалованья. Хотя после замужества они редко появлялись на сцене, а потом и совсем не танцевали, но жалованье все-таки получали.

Певца О. А. Петрова я помню, как только он приехал в Петербург в начале тридцатых годов. Он ходил к нам в это время каждый день обедать, пил чай и ужинал. Он учился дикции у отца. Петров много работал, чтобы уничтожить малороссийский акцент в своем выговоре. Он учился петь у Кавоса, который преподавал пение в театральной школе. Говорили, что Петров был певчим у какого-то архиерея в Малороссии.

Петров был коренастый, плечи у него были очень широкие, большая голова с густыми черными волосами.

Он был очень смуглый и походил на цыгана. Говорил он очень скоро, за что не раз доставалась ему головомойка от отца, когда Петров читал стихи или прозу.

– Зарубил!.. Слушая тебя, можно подумать, что капусту рубят в комнате. Мягче выговаривай слова и медленнее, придержи свой язык, а то он у тебя вертится во рту, точно спущенный волчок.

Кто помнит певца Петрова, знает хорошо, что в его пении было явственно слышно каждое слово. Все, кого учил отец дикции, имели ясный выговор. Он следовал методу князя Шаховского, который выходил из себя, если актер или актриса неявственно выговаривали слова. При уроках дикции отец всегда добивался поставить правильно голоса, какими обладали его ученики; иногда доводил их до слез; начнет читать ученица, он ее останавливает:

– Пищишь! Сначала!.. Низко взяла!

– Яков Григорьевич! – жалобно говорит ученица. – Да я не могу-с иначе читать.

– Врешь! Когда говоришь, так голос у тебя другой! Отец сердился, когда в монологе перевирали слова.

– Смей только перевирать слова и поправляться! Никуда не будешь годен, войдет в привычку, пропадешь! Такое брякнешь на сцене, что жизни не будешь рад. Выучи так монолог, чтобы ни на одном слове не заикнуться, а где запинаешься, так сто раз прочитай одно и то же!

Бывали такие несчастные актеры и актрисы, что постоянно перевирали слова, даже целые фразы, и в самых трагических местах своей роли, как например: «я теперь покоен, ключи заперты и двери в кармане» или, как в «Горе от ума» лакей докладывает: «карета в барыне и

гневаться изволит». Дюр в какой-то драме изображая королеву, долженствующую подписать смертный приговор, произнесла: «подайте мне чиро и пило» вместо чернил и перо.

Комика Н. О. Дюра я помню с самого раннего детства. Он был высокого роста, очень худой, слегка рябоватый, с светлыми белокурыми волосами, с такими же бровями. В юных годах его считали недолговечным, находя, что у него чахотка. Ему было уже лет 35, а может быть и более, когда он влюбился в воспитанницу Театральной школы, танцовщицу Новицкую, красавицу собой. Как танцовщица, она не особенно была хороша, да и ее высокий рост не шел к этому искусству. Красоту ее портил бескровный цвет лица. Тогда еще не обращали внимания на малокровие; страдающих этою болезнью не лечили, а приписывали бледность признакам чахотки. В Петербурге была порядочная немецкая оперная труппа, в которой особенно выделялся тенор Голанд. На немецкой сцене поставлена была опера «Фенелла», и воспитаннице Новицкой дали роль Фенеллы. Она так была красива в роли немой и так хорошо играла, что у нее явилось множество поклонников в первых рядах кресел, из блестящих молодых людей.

Государь часто в антрактах приходил на сцену разговаривать с артистами и всякий раз обращал внимание на воспитанницу Новицкую. Когда государь бывал на сцене, – за кулисами водворялась полнейшая тишина, по сцене никто не ходил, везде стояли чиновники, наблюдая, чтобы кто-нибудь по нечаянности не выскочил на сцену. Министр двора и Гедеонов стояли в почтительном расстоянии, наготове, если государь пожелает сделать какой-нибудь вопрос. Наконец, государю надоела эта гробовая тишина за кулисами и на сцене, и он отдал приказание, чтобы никогда не стеснялись его присутствия, и все делали бы свое дело. Надо было видеть, как суетились чиновники, чтобы, например, плотники, таща кулису, не задели государя, как все артистки расхаживали по сцене в надежде, что их осчастливит государь своим вниманием. Чтобы не задерживать публику, государь приказал Гедеонову докладывать ему, когда все готово для поднятия занавеса, и немедленно уходил в свою ложу.

Красавицу Новицкую выдали замуж за Дюра. Это произвело страшный переполох. Все танцовщицы считали Новицкую необыкновенной дурой, потому что ей представлялась блестящая карьера жить в роскоши и обеспечить себя капиталом.

Воспитанницы Театральной школы были тогда пропитаны традициями своих предшественниц и заботились постоянно заготовить себе, еще находясь в школе, богатого поклонника, чтобы при выходе из школы прямо сесть в свою карету и ехать на заготовленную квартиру с приданным бельем и богатым туалетом.

Поклонники Новицкой были озлоблены на нее, что она вышла замуж за актера. Когда ей пришлось в первый раз выходить на сцену после замужества, она очень боялась, потому что за кулисами распространились слухи, что ей будут шикать. Дюр старался ободрять жену перед выходом на сцену, но сам был в страшном волнении. Присутствие государя в театре, вероятно, помешало демонстрации озлобленных ее поклонников. Они ограничились тем, что не аплодировали ей, тогда как прежде до неистовства хлопали и ладоши при ее появлении и в продолжение всего спектакля.

Дюру было не мало тревог и забот с красавицей молоденькой женой. Дома он должен был умолять ее на коленях, чтобы она, как встанет, съела бы бифштекс и выпила бы стакан портеру, по предписанию доктора. Он боялся, чтобы у жены не развилась чахотка. За кулисами он должен был следить, чтобы ей не попало в руки письмо с объяснением в любви и блестящими предложениями от богачей. Он сам возил ее на репетиции, и когда она ленилась делать упражнения, то уговаривал ее, как ребенка, кормил леденцами, заранее запасенными в кармане. Он был мученик, когда не мог сопровождать свою молоденькую жену в театр, потому что сам был занят в другом театре. За заботы о здоровье жены Дюр был вознагражден: малокровие ее пропало, и на щеках появился нежный румянец, что еще более придавало красоты ее лицу. По мере того как жена полнела, муж чах и умер в чахотке.

Дюр осталась молодой вдовой с малолетней дочерью. Она ленилась упражняться в танцах и стала играть в балетах только роли матерей, и должна была гримировать свое красивое лицо морщинами. Она перешла на драматическое амплуа и пользовалась покровительством Гедеонова. Как актриса, она была не особенно выдающаяся, но выигрывала много мимикой своего красивого лица. К тридцати годам Дюр необычайно растолстела, но лицо оставалось красивым, а дослужив до пенсии и оставя сцену, она сделалась толстой уже до безобразия. Дюр скопила себе капиталец и вышла замуж за чиновника, с которым соединилась раньше гражданским браком. Но этот чиновник был картежник и проиграл ее капитал, дачу, даже заложил все ее бриллианты, да еще растратил казенные деньги. Это так подействовало на Дюр, что она слегла в постель, долго прохворала и умерла.

Известно, что в первую холеру, в 1831 году, среди народа распространились нелепые слухи, будто его отравляют поляки, будто все доктора подкуплены ими, чтобы в больницах морить людей. Я видела с балкона, как на Офицерской улице, в мелочной лавке, поймали отравителя и расправлялись с ним на улице. Как только лавочник, выскочив на улицу, закричал: «отравитель!» – мигом образовалась толпа и несчастного выволокли на улицу. Отец побежал спасать его. Лавочники и многие другие знали хорошо отца, и он едва уговорил толпу отвести лучше отравителя в полицию, и пошел сам с толпой в часть, которая находилась в маленьком переулочке против нашего дома. Фигура у несчастного «отравителя» была самая жалкая, платье на нем изорвано, лицо в крови, волосы всклокочены, его подталкивали в спину и в бока; сам он уже не мог идти.

Это был бедный чиновник. Навлек на него подозрение кисель, которым он думал угостить своих детей. Идя со службы, он купил фунт картофельной муки и положил сверток в карман шинели; вспомнив, что забыл купить сахару, он зашел в мелочную лавку, купил полфунта сахару, сунул его в карман, бумага с картофельной мукой разорвалась и запачкала ему его руку. Лавочники, увидав это, и заорали: «отравитель!».

Описанный случай был прелюдией народного волнения на Сенной площади, которое произошло через несколько дней. Часов в 6 вечера вдруг по улице стал бежать народ, крича: «на Сенную!» Как теперь, вижу рослого мужика, с расстегнутым воротом рубашки, засученными рукавами, поднявшего свои кулачища и кричавшего на всю улицу: «Ребята, всех докторов избьем!» «На Сенную, на Сенную!» – раздавались крики бежавших. Очевидцы рассказывают, что докторов стаскивали с дрожек и избивали до смерти.

Улицы и без того были пустынные в холеру, но после катастрофы на Сенной сделалось еще пустынее. Все боялись выходить, чтобы их не приняли за докторов и не учинили бы расправу.

У нас по всем комнатам стояли плошки с дегтем и по несколько раз в день курили можжевельником. В нашей семье никто не захворал холерой. Каждый день наша прислуга сообщала нам ходившие в народе слухи, один нелепее другого: то будто вышел приказ, чтобы в каждом доме заготовить несколько гробов, и, как только кто захворает холерой, то сейчас же давать знать полиции, которая должна положить больного в гроб, заколотить крышку и прямо везти на кладбище, потому что холера тотчас же прекратится от этой меры. А то выдавали за достоверное, что каждое утро и вечер во все квартиры будет являться доктор, чтобы осматривать всех живущих; если кто и здоров, но доктору покажется больным, то его сейчас же посадят в закрытую фуру и увезут в больницу под конвоем.

Нелепейших предосторожностей от холеры было множество. Находились такие субъекты, которые намазывали себе все тело жиром кошки; у всех стояли настойки из красного перца. Пили деготь. Один господин каждый день пил по рюмке бычачьей крови.

Глава 2. Самойловы – Мартынов – Тальони – Андреевна

Еще девочкой я слышала В. В. Самойлова, когда он пел в опере «Волшебный стрелок» вместе со своим отцом. Первоначально молодой Самойлов поступил на сцену певцом. Все семейство Самойловых я знала начиная с их отца, матери, взрослых их дочерей сыновей и кончая маленькой девочкой, которая была одних лет со мной, или немного помоложе меня. Старшие дочери старика Самойлова ходили в гости к теткам, а с младшими я виделась в клубном немецком саду, который на летний сезон помещался на Мойке, близ Поцелуева моста, в доме разорившегося Альбрехта, выстроившего для себя дом с разными барскими затеями: с манежем, с оранжереями и большим садом. Экономные распорядители немецкого клуба за плату на все лето пускали детей гулять только до 7 часов вечера, потому что потом собирались члены, играли в кегли и в карты.

Старший сын старика Самойлова был уже чиновником и членом клуба; он любил разговаривать со мной, кормил сладкими пирожками и защищал меня и братьев перед распорядителями клуба, которым садовник приносил жалобы на нас, что мы лазаем по крыше беседки, по заборам, таскаем яблоки с деревьев. Его две младшие сестры также приходили в сад гулять. Надежда Васильевна была уже подросток, очень бойкая, и постоянно говорила, как она поступит на сцену и какие будет играть роли. Вера Васильевна была очень молчаливая девочка, не любила бегать и все сидела на одном месте.

В сад ходила гулять и дочь актрисы Асенковой. Она была лет 14, казалась взрослой, но любила еще побегать, и мы с ней до упаду бегали вперегонки. Асенкова была очень хорошенькая, и я гордилась, что большая девочка и такая хорошенькая не пренебрегает мной.

Двух Самойловых и Асенкову мне пришлось видеть впоследствии на сцене. Надежда Васильевна Самойлова и Варвара Николаевна Асенкова были на одном амплуа. Обе были хорошие водевильные актрисы. Гуляя девочками в саду и разговаривая между собой, они тогда, конечно, и не думали, что наступит время, когда между ними возникнет непримиримая вражда. Самая младшая сестра, Вера Васильевна Самойлова, поступила на сцену на драматические роли в 1842 году, была красива собой, высокого роста, с изящными манерами, и как актриса – была талантливее своих сестер. Самая старшая сестра, Мария Васильевна Самойлова, пробыла недолго на сцене и вышла замуж. Из семейства старика Самойлова на сцене были три дочери и один сын. Надо заметить, что старики Самойловы очень заботились о воспитании своих детей. Девочек отдавали в хорошие пансионаты, а мальчиков в разные заведения. В. В. Самойлов случайно попал на сцену, он был горный офицер. За кулисами ходили слухи, что он имел какую-то неприятную историю на одном общественном собрании в провинциальном городе, где служил, и вследствие этого снял мундир, приехал к отцу и поступил на сцену.

Вера Васильевна Самойлова покинула сцену скоро, несмотря на то, что ее игру публика очень ценила. Даже государь Николай Павлович одно время каждый раз бывал в театре, когда она играла, и часто в антрактах выходил на сцену и разговаривал с ней. Но А. М. Геденов невзлюбил Веру Васильевну. Она держала себя с ним гордо. Закулисные сплетни раздували неприязнь, и разные чиновники, разумеется, доносили Геденову о каждом слове, сказанном о нем В. В. Самойловой.

Контракт ее с дирекцией кончался, и надо было возобновлять его, но Геденову этого не хотелось, и он, что называется, допекал ее не мытьем, так катаньем. Самойлова потребовала новый лиф к бархатному платью для одной роли. Это такой пустяк, о котором никогда не докладывают директору, а тут услужливые чиновники доложили ему. Геденов велел ей ответить, что «и старый хорош для нее». На репетиции В. В. Самойлова объявила, что не выйдет на

сцену в старом лифе. Сшить лиф можно было в несколько часов, тем более, что бархатное платье Самойлова должна была надеть в последнем акте. Гедеонову нужно было, чтобы государь присутствовал в театре, когда Вера Васильевна исполнит свое слово и не выйдет на сцену. Он назначил танцевать в дивертисмент тех воспитанниц, которых государь любил видеть. Государь, точно, приехал в театр, но к последнему акту драмы. В то время за кулисами уже происходила история. Вера Васильевна сидела в уборной и не надевала старого лифа. Антракт затянулся. Государь послал узнать, почему не поднимают занавес. Гедеонов явился в ложу государя и доложил, что Самойлова не хочет одеваться, потому что ей не сделали нового бархатного платья, что она предъявляет такие невероятные требования по своему гардеробу, которые влекут страшные расходы.

– Скажи, что я приказываю ей выйти на сцену, – ответил государь.

Гедеонов, торжествуя, передал волю государя Самойловой. Конечно, она поспешила выйти на сцену. Если бы она знала, что государь приехал в театр, то, разумеется, не стала бы входить в препирательства с Гедеоновым. После этого спектакля она сама не захотела возобновить условия с дирекцией и, покинув сцену, вышла замуж.

Смерть отца Самойловых была очень трагическая. В 1839 г. он поехал с приятелями на лодке под парусами на петергофский праздник. Железных дорог тогда не было, не знаю, ходили ли тогда частные пароходы из Петербурга в Петергоф. Все, желающие посмотреть иллюминацию в Петергофе, отправлялись в экипажах или на лодках. В шесть часов вечера неожиданно разыгралась страшная буря; много лодок погибло на взморье и в том числе лодка со стариком Самойловым.

От Александрийского театра к Чернышеву мосту строился ряд домов, в которых должна была поместиться вся административная часть театра, театральная школа и квартиры артистам. Первоначальный фасад домов предполагался по плану Пале-Рояля в Париже. С двух сторон шли арки, а в глубине их должны были находиться помещения для кофейных и для магазинов. Государь изменил план, найдя близкое соседство магазинов и кофейных со школой невозможным. Арки заделали и превратили их в жилые комнаты, в которых устроили гардеробную и разные другие помещения; над арками поместили воспитанников, а в верхнем этаже – воспитанниц. Во дворе выстроены были большие флигеля для квартир артистов. Но в это время театральные чиновники так размножились, что заняли лучшие квартиры, а для артистов остались маленькие квартиры, да и то, чтобы получить артисту или артистке квартиру, надо было иметь покровительство какого-нибудь чиновника. Отец переехал на частную квартиру.

Власть свою чиновники распространили на все; в театральной школе не оказывалось вакансий для детей бедных артистов, потому что чиновники их замещали детьми своих знакомых и тех артистов, которые делали им подарки. Чтобы дать место в школе своим протеже, чиновники придумали перед приемом детей выключать за бездарность уже взрослых воспитанников и воспитанниц, пробывших в школе несколько лет. Эти исключения были нововведением. По прежним театральным правилам, воспитанники при выпуске, если оказывались бездарными, назначались в статисты или поступали в хоры. Но и в хорах было набрано с воли множество народу. Были такие хористки, которые ни слова не знали по-русски, не понимали нот и не имели никакого голоса, а на сцене только разевали рот.

Так как к нам часто ходили играть в карты чиновники, имевшие власть, то я слышала от них, какие жертвы ими намечены для исключения. В числе этих жертв попался и воспитанник А. Е. Мартынов, которому оставалось еще год до выпуска. Мне его было очень жаль; я знала, что за него некому было заступиться.

Программа наук в школе была хорошая, но учение было плохое, так что исключенный воспитанник не мог себе найти заработка. Других театров, кроме императорских, тогда не допускалось.

Мне потому было жаль Мартынова, что он очень меня смешил, когда я стояла за кулисами во время спектакля, а он, находясь в той же кулисе, с своими товарищами, передразнивал всех артистов, которые в это время говорили на сцене: Толченова, Каратыгина, моего отца и др. Иногда Мартынов вдруг придавал своему лицу такое комическое выражение, что его товарищи бежали из-за кулисы, будучи не в силах удерживаться от смеха. Мартынов был худенький, небольшого роста, с светло-белокурыми волосами и слегка вздернутым носиком.

Наступила масленица – страда артистов. Спектакли шли утром и вечером. Водевиль в двух актах «Филатка и Мирошка» делал большие сборы; по масленичному недельному репертуару его назначили давать под конец спектакля утром и вечером. Сюжет его был из народного быта: дурачок Филатка идет в солдаты за своего брата, сначала он очень трусит, но потом храбрится. Роль Филатки всегда играл А. В. Воротников, публика его очень любила и была снисходительна к нему, когда он зачастую в последнее время выходил на сцену, едва держась на ногах.

На первых днях масленицы государь Николай Павлович привез на утренний спектакль своих детей. Государь сидел в боковой царской ложе, и я стояла за кулисами против царской ложи. Только что начали последний акт пьесы, после которой должен был пойти «Филатка и Мирошка», вдруг сделалась суeta за кулисами, все передавали что-то друг другу, чиновники бегали с потерянными видами. Оказалось, что Воротников не явился еще в театр. После розысков по трактирам, его привезли в театр, но в бесчувственном состоянии. Окачивали его холодной водой, но он не отрезвлялся. Надо было доложить директору. Я как раз стояла у кулисы, где из ложи директора устроен выход на сцену. Гедеонов прибежал впопыхах и жалобно произносил:

– Зарезали, злодеи! Не могли позаботиться заранее, все ли в сборе к последней пьесе. Я вас всех! Господи, что мне делать?

Все это Гедеонов говорил вполголоса, потому что на сцене шла пьеса.

– Я знаю роль Филатки... позвольте, я сыграю! – неожиданно для всех сказал Мартынов, подойдя к директору, который сначала шепотом выругал его «дурак», но потом, как бы вспомнив с ужасом, что «Филатка и Мирошка» не может идти, приказал Мартынову отправиться за собой в фойе, чтобы посмотреть – может ли он хоть кое-как сыграть Филатку. Из фойе директор вышел веселый и сказал подчиненным, которые за ним следовали:

– Может сыграть! Вот счастье! Что бы было без него!.. Одевайте его скорей.

Когда занавес опустился, Мартынов уже был на сцене, в пестрядиной рубахе, в лаптях и в белобрисом трепаном парике. Все с изумлением глядели на смельчака. Анонс сделали при поднятии занавеса. Мне было страшно за Мартынова, но я успокоилась, когда он начал играть. Он был так естественно комичен, изображая дураковатого парня, что царские дети заливались смехом. Государь тоже улыбался. За кулисами была тишина, все напряженно следили за импровизованным дебютантом.

Когда окончилась пьеса, то из царской ложи раздались детские голоса: «Мартынова, Мартынова!» Публика так-же кричала: «Мартынова!»

Успех дебютанта был полнейший, и Мартынов всю масленицу играл Филатку, потому что Воротников слег в постель, вероятно, простудившись от усердного окачивания холодной водой, когда его старались отрезвить. Болезнь Воротникова спасла Мартынова от исключения из театральной школы. Но чиновники все-таки считали себя компетентными судьями и назначили Мартынову при выпуске самое грошное жалованье, как бездарному артисту, и не давали ему хороших ролей, выпуская его на сцену только на выходных ролях. Но после смерти Воротникова (1840) не было комика, и поневоле пришлось заменить его Мартыновым. С ним поступали безбожно, заставляя его играть без отдыха зараз в трех водевилях, а иногда он скакал из Александрийского театра в Большой, чтобы сыграть в четвертом. Жалованья ему не прибавляли; он получил вчетверо менее, чем какая-нибудь бездарная актриса.

Мартынов очень скоро сделался любимцем публики, она всегда встречала его аплодисментами, что вызывало зависть к нему за кулисами. Я видела раз, как государь громко смеялся, смотря какой-то водевиль, где играл Мартынов; это очень редко случалось с государем.

Мартынов долго бедствовал, особенно когда сделался семейным человеком. Он не способен был, как другие актеры, заискивать расположение богатых театралов-купцов, которые давали денежные вспомоществования актерам. Некоторые артисты даже умели выпрашивать у них себе деньги на покупку дома. Имеющие власть чиновники покровительствовали тем артистам, которые в их именины и в новый год подносили им ценные подарки. В эти дни на квартиру такого чиновника, с черной и парадной лестницы, являлось множество поздравителей с приношениями. Мартынову из своего маленького жалованья трудно было делать подарки тем, от кого зависела прибавка жалованья. Только под конец его 25-летней службы уравнили его жалованье с товарищами, да и то дали ему менее разовых, хотя он, играя в один вечер в трех пьесах, получал менее, чем другой артист получал разовые за одну им сыгранную роль в водевиле. Эти разовые придуманы были директором для того, чтобы не увеличивать жалованья, которое назначалось артисту не свыше 4-х тысяч ассигнациями в год; это жалованье шло потом в пенсию за 25 лет службы на театре. Гедеонов накинул еще два года до получения пенсии; эти два года назывались «благодарностью». Бенефиса Мартынову тоже долго не давали, тогда как многие товарищи уже получили его.

Здоровье Мартынова очень расстроилось в последние годы, да и как было не расстроиться ему, когда он проводил целые дни в театре: утром на репетиции, а вечером на спектакле. Летом играл в Петергофском или Каменноостровском театрах.

Комедии Островского дали возможность Мартынову показать, насколько он был талантливый артист, потому что, играя в пустых водевилях, он не мог вполне высказать свой талант.

Я была на первом представлении «Грозы» Островского. Мартынов так сыграл свою роль, что дух замирал от каждого его слова в последней сцене, когда он бросился к трупу своей жены, вытасченной из воды. Все зрители были потрясены его игрой. В «Грозе» Мартынов показал, что обладает также замечательным трагическим талантом. В конце мая 1860 года Мартынов взял отпуск на лето, чтобы ехать лечиться на юг, потому что у него стала быстро развиваться чахотка. Островский отправлялся вместе с ним. Мартынов приехал проститься к Панаеву и долго просидел у нас. Он возлагал большие надежды на поправление своего здоровья от отдыха и южного климата, но его худоба, кашель и зловещий румянец на щеках пугали меня.

– Мне необходим отдых! – говорил он. – Вы не можете себе представить, до чего я устал; мне теперь очень трудно выучить роль, тогда как прежде бывало, прочитаешь раза два свою роль – и готово! Притупил совершенно свою память в продолжение двух десятков лет заучиванием массы глупейших ролей. Я дошел в последнее время до того, что начну играть на сцене, и вдруг чувствую, что у меня в голове перепутались роли, я начинаю импровизировать и только благодаря хорошему суфлеру, который подавал реплики, я не сбивал других, и дело шло с рук.

Надо заметить, что чиновники знали отлично, почему Мартынов сбивался на сцене в своей роли, но распускали слух, что он постоянно в пьяном виде выходил на сцену.

– Из-за меня ни разу не было перемен спектакля, – рассказывал Мартынов, – а зачастую приедешь вечером в театр, оказывается перемена спектакля по болезни кого-нибудь, и тебя заставляют играть в пьесе, которая давно не была на репертуаре. Почему-то я постоянно был не в милости у начальства. Все оскорбления, какие я перенес от него, может вынести только человек, испытавший их со школьной скамейки. Раз мне нездоровилось, я послал сказать, что не могу играть вечером, так мне преподнесли такого рода приказание: чтобы я отрезвился и был бы в театре вечером, а иначе у меня сделают вычет из жалованья за два месяца. Нечего делать – играл, нельзя же заставить голодать свое семейство два месяца! Или вот проделал Гедеонов со мной такого рода штуку. Приехали мы в Петергоф играть, подали обед всем арти-

стам во дворце. Выходит директор и отдает приказание придворным лакеям, чтобы мне не давали вина за обедом, а дали бы только за ужином.

При этих словах яркий румянец вспыхнул на щеках у Мартынова, он закашлялся и опять продолжал, обращаясь ко мне:

– Вы хотя были девочкой, но, вероятно, помните, что чиновники прежде не имели такой власти над артистами. . . Осталось предание при театре, как ваш отец, в своей молодости, хотел проучить директора Тюфякина, который вздумал разговаривать с ним на «ты». Тюфякин спрятался в ложе, когда ваш отец побежал за ним. Как только ваш отец заявил, что он оставляет сцену, то несколько артистов тоже объявили, что не желают оставаться при таком директоре. Тюфякин при всех артистах извинился перед вашим отцом и сделался вежлив. А теперь! Артисты только и думают о том, как бы подслужиться чиновникам, и если видят, что они кого-нибудь невзлюбили, так в угоду им наплетут всякую всячину на своего товарища. Если такие порядки будут продолжаться при театре, то русская сцена придет в упадок. Даровитые артисты долго на ней не прослужат – сбегут!.. Я теперь жить не могу без сцены, а прежде бывали минуты, что приходила в голову мысль: уйти со сцены не могу, обязан быть на ней 25 лет, не наложить ли уж руки на себя?.. Если бы был одинок, право, порешил бы с собой! Не труд расстроил мое здоровье, а попираание моего человеческого достоинства. Ведь эти теперешние чиновники при театре просто – нашествие татар.

Мартынов сильно был взволнован. Под конец он печально улыбнулся и произнес:

– Что это со мной сделалось? Столько лет виду не показывал никому, как я страдаю, а тут все выболтал!

Желая как-нибудь развлечь Мартынова, я напомнила ему о его первом дебюте в «Филатке и Мирошке».

Он, улыбаясь, произнес:

– Это была единственная благодарность, полученная мною в долголетнюю мою службу от директора.

28-го августа того же года получено было моим мужем из Москвы от Островского следующее письмо:

«Горе, любезнейший Иван Иванович, большое горе! нашего Мартынова не стало. Он умер в Харькове на моих руках. Без страдания, угасая день за днем, он скончался, как ребенок, не сознавая даже своего положения. Я только вчера приехал в Москву разбитый, усталый. Я вам напишу подробно в виде письма о его болезни в продолжение четырех месяцев его жизни, дайте мне только немного опомниться. С Мартыновым я потерял все на петербургской сцене. Теперь не знаю, когда буду в Петербурге, мне как-то не хочется туда ехать. Пиеску я выправил и посылаю вам, сделайте милость, прикажите получше просмотреть корректуру. В Крыму я кой-что приготовил, а теперь засяду за работу. «Сон на Волге» постараюсь окончить поскорее. До свидания.

Преданный вам А. Островский».

Еще до получения письма от Островского, печальная весть о смерти Мартынова уже разнеслась по Петербургу.

В день прибытия тела Мартынова по Московской железной дороге (11 сентября 1860), собралась на площади у дебаркадера такая толпа народа, что, как говорится, негде было упасть яблоку. На протяжении всего Невского проспекта такая же сплошная масса ждала похоронной процессии. Движение экипажей было приостановлено, сама публика позаботилась не пропускать экипажей с боковых улиц, чтобы не давили народ. Полиция застигнута была врасплох, да она и не была нужна, потому что порядок везде был удивительный, с таким тактом и приличием держала себя публика.

Замечательно, что никаких приготовлений для встречи тела Мартынова не было, только появилось в двух или трех газетах извещение, что тогда-то гроб с телом Мартынова прибывает

на Московский вокзал и последует на кладбище. Не было выбрано распорядителей. Не было подписок на венки, не устраивалось никаких дежурств, не раздавалось билетов для входа в кладбищенскую церковь. А торжественнее этих похорон трудно что-нибудь себе вообразить. В церкви было очень мало русских артистов, но зато очень много из французской и немецкой трупп, а театральные чиновники и начальство совсем не удостоили явиться на похороны Мартынова.

Много было толков о небывалых похоронах Мартынова. Некоторые даже как бы обиделись, что публика оказала ему такой почет. Я слышала, как одно значительное лицо негодовало: «Скажите, пожалуйста, – говорило оно, – везут гроб актера, и нет проезда по Невскому!.. Такого беспорядка не должна была допустить полиция! Если видит, что не может сладить с толпой, требуй казаков, чтобы нагайками разогнали дураков!»

Русская сцена чуть было не лишилась в то же время еще талантливой актрисы Ю. Н. Линской. Компетентные судьи-чиновники также нашли ее бездарной, но мой отец защитил ее. Конечно, будь Линская смазливой личиком, то у нее нашелся бы покровитель из чиновников; но она была некрасива: маленького роста, дурно сложена, причем в ее фигуре особенно поражали коротенькие руки. Комический талант Линской был большой, она постоянно играла с Мартыновым. В «Грозе» Островского Линская показала, что может играть хорошо не одни комические роли.

Я привела только два примера того, как чуть было не лишилась русская сцена двух таких замечательных талантов, как Мартынов и Линская. Но кто знает, может быть, еще были такие же таланты, забракованные тогдашними ценителями сценического искусства, которые доказали свою специальность в совершенно другой отрасли искусства – наживать себе капитал при театре.

Я уже упоминала о писце Крутицком, который в моем детстве ходил босой, но, продолжая свою службу при театре, нажил себе два домика и дачу; его жена ходила в соболях и бархате; он задавал пиры с разливным морем шампанского. Все почти тогдашние чиновники при театре из предосторожности покупали дома и имения на имя своих жен и клали в банк свои капиталы.

Для управляющего конторой А. Д. Киреева эта предосторожность имела очень печальный конец... Киреев высмотрел себе одну очень красивую воспитанницу, немку, попавшую в школу по покровительству чиновников. При выпуске, этой бездарной, но красивой воспитаннице было назначено хорошее жалованье и дана казенная квартира. Он думал, что такой награды за ее расположение к нему довольно за глаза, но ее мать немка, не принадлежавшая к театру, была опытная и ловкая женщина; она, через несколько месяцев сожительства своей дочери с управляющим конторой, потребовала, чтобы он женился на ней, иначе грозила подать жалобу, что он еще в школе совратил ее дочь. Нечего делать, чиновник увидел, что нашла коса на камень, и женился; однако, он был очень доволен своим супружеством и всем проповедовал, что для счастья семейной жизни главное нужно выбирать себе жену глупенькую. Точно, жена его не отличалась умом. Прожил Киреев несколько лет с женой в мире и согласии, несмотря на неравенство лет. Он женился лет 40, а ей было всего 17. Как ни изощрялся управляющий конторой театра представлять отчеты расходов, однако назначена была строгая ревизия его долголетнему управлению, и с ним сделался паралич.

Человеколюбивая ревизия оставила несчастного в покое, а жена отвезла его в имение, купленное на ее имя, оставила больного мужа одного, назначив ему самое скромное содержание, а сама поселилась в Петербурге, чтобы наслаждаться жизнью.

Мне пришлось изучить до тонкости жизнь воспитанниц театральной школы. Хотя я ее и так хорошо знала с самого раннего детства, слыша и видя, что там делается, но тут я более года должна была каждый день целое утро находиться в школе. Поневоле изучила дух школы и все порядки в ней.

По милости Дидло меня стали готовить в танцовщицы, что привело меня в отчаяние. Я почему-то питала отвращение к одному названию «танцовщица». Я очень охотно стала бы готовиться в певицы, в драматические актрисы, но только не в танцовщицы. Явно я не смела протестовать, раз мать захотела сделать меня танцовщицей, – но решила, что не буду солисткой. В сущности, по моим годам (мне было уже 12 лет) поздно было начинать готовиться в танцовщицы; но Дидло, видя как я передразниваю танцовщиц, находил, что для меня легко будет достичь премудрости танцевального классического искусства.

Меня и младшего брата посылали каждое утро учиться к танцору Шелехову, ученику старика Дидло. Шелехов, женатый человек, был очень занят, танцуя на сцене и давая частные уроки танцев. Видно было, что ему не до нас, и он зачастую только заглядывал в залу, где мы упражнялись. Заслышав его шаги, мы отбегали от окна, в которое смотрели, хватались за стулья и шаркали ногами по полу. Учитель успокаивался, воображая, что мы работаем. Понятно, что успехов я никаких не сделала в продолжение двух лет.

Декоратор Роллер почему то особенно взлюбил меня. Когда я была еще маленькой девочкой, он очень интересовался моими успехами в танцах; он-то и был причиной, что я стала учиться в школе по приказанию министра двора князя П. М. Волконского. Балетмейстеру Титюсу велено было меня готовить для сцены. Прежде в театральной школе не было входящих учениц, только для меня и брата сделано было исключение. Роллеру непременно захотелось поставить меня в живые картины. Для поправления сборов, в посту стали давать концерты с живыми картинами. Эта новость привлекала много публики в театр. Директор приказал всем артистам участвовать в живых картинах, а если кто не явится, то распорядился высчитывать месячное жалованье.

Когда отцу прислали бумагу из конторы с этим приказанием, то он отказался расписаться, что читал ее, несмотря на уверения чиновника, что его не будут тревожить.

– Не подпишу! – твердил отец. – Сегодня вы выдумаете показывать меня в живых картинах, а завтра пришлете бумагу, чтобы я надел трико и танцевал в балете. Так и скажите Александру Михайловичу (Гедеонову), что таких глупых бумаг не буду подписывать.

В. А. Каратыгин последовал примеру отца. Только они двое и были освобождены от живых картин. Директор сначала покипятился заслушание его воли, но скоро успокоился.

Все артисты роптали, особенно бедные хористки, которые лишены были отдыха в посту.

Роллер выпросил позволение у матери поставить меня в живые картины и очень был доволен, получив от нее разрешение. Я должна была изображать девочку цыганку с цветком в руке, на который я смотрела улыбаясь. Роллер сам придумал мне костюм и прическу. Когда я стояла в своей раме перед поднятием занавеса, Роллер в сопровождении министра двора подошел ко мне.

Я знала князя Волконского в лицо, когда еще мне было лет семь. Я его видела на нашей лестнице; он приезжал к актрисе Азаревич, жившей против нас. Я всегда знала, когда должен приехать князь Волконский, потому что дворник тщательно мел двор, а лестницы посыпал песком. Как только въезжала карета во двор, я выбегала в сени, чтобы посмотреть на важного гостя Азаревич. Он всегда приезжал часов в 10 утра.

Подойдя ко мне, князь Волконский спросил, сколько мне лет, у кого я учусь танцевать и закончил словами: «скорей поступайте на сцену, вас будет учить Титюс». Немецкое добродушное лицо Роллера сияло радостью, а я едва удерживала слезы от досады на Роллера, и когда он вернулся, чтобы усадить меня, то я накинулась на него, зачем он приводил министра смотреть на меня, и объявила ему, что никогда не буду солисткой, хотя бы меня учили пять Титюсов. Роллер упрасивал меня успокоиться, потому что сейчас будет очередь моей картины.

Я ощутила странное чувство, когда раздались аплодисменты. Публика два раза требовала повторения моей картины. Роллер был ужасно доволен.

На третий же день меня с братом отправили в театральную школу. Многие воспитанницы знали меня, но все-таки обступили и стали расспрашивать, каким образом я попала в школу? Узнав, что я тоже буду ходить в классы на уроки, они заявили мне, чтобы я подчинилась их установленным правилам: «никогда не отвечать уроков учителям». Но когда я заметила что учителя могут пожаловаться на меня, они уверяли, что не посмеют! Я была поражена, как взрослые воспитанницы обходятся с учителями. Если учитель их спрашивал урок, то они все только восклицали: «Да, страсти, девицы!» – и отворачивались с презрением от него. Если же он настаивал, то ему все разом восклицали: «Да, девицы! – несчастный!..» – и потом прибавляли: «Мы ваших уроков не учили и не будем учить». Учитель пожимал плечами, развлекал учениц посторонним разговором, чтобы только они не разбежались из класса.

Ко мне, как к новенькой, учителя попробовали было обратиться с вопросами, но воспитанницы хором заявили, что я также не готовила уроков.

В младших классах, по примеру старших, также не учили уроков, отговариваясь тем, что не было времени. Впрочем, иногда точно у них не было времени учиться: утром их возили на репетицию балета, а вечером в спектакль, откуда они возвращались в час ночи. Взрослые воспитанницы-танцовщицы совсем не ходили в классы.

Я приводила Титюса в совершенное отчаяние, потому что изображала из себя самую неуклюжую фигуру, когда он заставлял меня упражняться перед собой. Я притворялась, что у меня дрожат ноги. Титюс был уже пожилой, довольно полный господин, с большими бледно-голубоватыми сонными глазами, но эти глаза гневно блестели, смотря на меня, и он восклицал по-французски: «Что я могу сделать с этим бревном?» В самом деле, положение Титюса было очень неприятное: ему было приказано от высшего начальства как можно скорее выпустить меня на сцену, а я представлялась никуда не годной для танцев.

Приехала в Петербург знаменитая балерина Тальони с своим отцом, маленьким старичком, и являлась с ним в школу упражняться. Директор и другие чиновники очень ухаживали за обоими иностранцами; им подавался в школе отличный завтрак.

Тальони днем была очень некрасива, худенькая-прехуденькая, с маленьким желтым лицом в мелких морщинках. Я краснела за воспитанниц, которые после танцев окружали Тальони и, придавая своему голосу умиленное выражение, говорили ей: «Какая ты рожа! какая ты сморщенная»!

Тальони, воображая, что они говорят ей комплименты, кивала им с улыбкой головой и отвечала:

– Merci, mes enfants!

Тальони сделала мне большую неприятность. Раз Титюс не пришел в класс, и никто не упражнялся без него. Воспитанницы стали упрашивать меня представить им Тальони, которую я очень удачно передразнивала. Все воспитанницы знали, что я нарочно корчу из себя неуклюжую фигуру перед Титюсом, и очень были довольны, что я его злю в классе. Для их потехи, я стала ходить по зале на носках, делала антраша и, как Тальони, стояла долго на одной ноге, а другую держала высоко и вдруг, встав на носок, делала пируэт; потом оправляла платье, как Тальони после танца, и раскланивалась с мнимой публикой.

– Сапристи! – вдруг раздался в дверях голос Титюса, которого никто не заметил и который, как оказалось, видел мое представление. Я, конечно, страшно перепугалась. Титюс грозно подошел ко мне и то по-французски, то на ломаном русском языке стал меня бранить.

– Ноги у нее дрожат, горбится, носки как тряпки, когда в классе! А оказывается, что у нее стальной носок. Хорошо же, я пожалуюсь на вас.

И точно, Титюс пожаловался моей матери, и мне страшно досталось за мою проделку. Меня в наказание заставили упражняться еще по вечерам дома. Но я хитрила и вместо упражнения читала книги, которые были в спальне у матери. Я прочитала Марлинского, Рафаила

Зотова, а чтобы показать вид, будто упражнялась в танцах до поту лица, смачивала передние волосы водой и растирала руками докрасна себе щеки.

Я стала допекать Титюса другим способом. Притворялась, что у меня нет слуха, и никак не попадала в такт, когда он заставлял меня делать какое-нибудь па под скрипку.

Брат кончал свои уроки в отделении воспитанников позже часом, и я ждала его, сидя в дортуаре; это был час обеда воспитанниц, и дортуар был пустой, оставались только я и Андреянова; в это время всегда являлся к ней директор; их тихого разговора я не могла слышать, потому что сидела в другом конце огромного дортуара, да и садилась на скамейку между кроватями, так что меня не было видно. Андреянова иногда кричала на Гедеонова, выгоняла его вон и даже раз пустила в него танцевальным башмаком. Меня удивляла смелость Андреяновой, но в то же время мне было приятно видеть, как гроза всех артистов смиренно повиновался ее приказанию.

Андреянова обедала отдельно от других воспитанниц:

Гедеонов присылал к ней обед от себя с дорогим вином. Через несколько времени и Смирновой стали давать такой же обед, чтобы прекратить толки при театре о привилегии Андреяновой.

Окна в дортуаре были громадные, все меры были приняты, чтобы воспитанницы не могли смотреть в них на своих обожателей, катавшихся по целым часам мимо школы. Окна были очень высоко от полу, а подоконники так узки, что едва можно было поставить ноги; три стекла были покрашены белой масляной краской, только самое верхнее стекло оставалось чистым. Воспитанницы ухитрились все-таки взбираться на окна, и выскоблили в краске два кружка для глаз и смотрели на проезжающих. Только и были слышны восклицания: «Да, девицы, счастливая! мой сегодня на вороных!» «Да, девицы, несчастная! мой в одиночку сегодня!» «Девицы, ай, страсти, опять штафирка едет: урод!»

Пока воспитанницы смотрели в окна, в дверях дежурила одна из товарок, обожатель которой в этот день не катался. Она тотчас извещала, если в коридоре появлялся инспектор. Все соскакивали с окон, восклицая: «девицы, да страсти!» – или «да, девицы, черт противный!»

Гедеонов всячески оберегал Андреянову. Он приказал инспектору школы находиться в дортуаре в те часы, когда происходили катания офицеров мимо школы. Но инспектор часто манкировал своей обязанностью, потому что любезничал сам с одной воспитанницей в классной комнате.

Гедеоновым был отдан приказ, чтобы у родственников, приходивших по праздникам навещать воспитанниц, осматривали корзины и свертки, в которых они всегда приносили пироги и другие лакомства, потому что обожатели, пользуясь случаем, пересылали своим предметам записочки и разные вещи. Несмотря на это, контрабанда была развита в сильной степени.

Я знала все знаки, которыми переговаривались воспитанницы-танцовщицы со сцены с своими поклонниками, сидящими в первых рядах кресел. Если проведет пальцем по губам, означает, что желает конфет или фруктов; возьмется за ухо, желает серьги; за руку – браслета. Если же возьмется обеими руками за голову, как бы поправляя прическу, то значит, была головомойка за разговоры с обожателем на сцене. Множество было и других знаков, но я их уже забыла.

Андреянова могла бы делать много неприятностей своим товаркам, зная все уловки, каким образом они получали от своих обожателей лакомства и подарки, но она никогда не выдавала их.

За кулисами всем было известно, что Андреянова пользуется особым расположением Гедеонова, а потому все были очень любезны с ней, особенно театральные чиновники.

Выйдя из школы, Андреянова не воспользовалась своим могуществом и никого не притесняла.

Не то было, когда впоследствии, в 1850 г., французская актриса Мила (Mlle Mila-Dechamps) заняла место Андреяновой. Тогда все театральные чиновники должны были раскошелиться на дорогие подарки для нее на новый год. Мила сделалась полновластным лицом в театре, ангажементы французской, немецкой труппы зависели от нее, назначение бенефисов также. Если нужно было кому-нибудь из артистов ее покровительство, то все знали, что с пустыми руками нечего и идти к ней.

Мила поступила сначала на французскую сцену на скромное жалованье и играла маленькие роли в водевильчиках. Она была очень красивая и талантливая актриса. Как только она получила власть, то выписала свою сестру, некрасивую и бездарную актрису, но которой назначено было хорошее жалованье и бенефис.

Прежде французский репертуар состоял исключительно из серьезных комедий и драм, а теперь они заменились трехактными водевилями для Мила, которая выжила со сцены Аллан, мужа и жену, за то, что они не хотели искать ее покровительства.

Раз Мила захотелось иметь маленькую болоночку. Все чиновники сбились с ног, ища, где бы купить такую собачку. Управляющий конторой нарочно послал за границу своего подчиненного, чтобы там купить крошечную болоночку, и за это поднесение ему было оказано особое покровительство. Мила жила роскошно: на счет конторы ей выписывали из Парижа мебель, наряды, белье. Она скопила себе хорошее состояние, у нее было много бриллиантов, и она выручила хорошие деньги, распродав дорогую обстановку своей квартиры при отъезде из Петербурга. Как только Гедеонов вышел в отставку, она стала третировать его, как лакея.

Профессора пения К. А. Кавоса в школе я знала с раннего детства. До него, кажется, считали невозможным ставить серьезные оперы с русскими певцами; все были такого убеждения, что у русских не может быть больших голосов и нет вовсе музыкальных способностей. В Петербурге тогда была единственная школа пения в театральном училище; оттуда выходили певцы и певицы для маленьких опер. Но ларчик просто открывался: не было хорошего профессора пения, и Кавос это блистательно доказал. В одном выпуске он дал двух певиц с большими голосами: М. М. Степанову и А. Я. Воробьеву; у последней был такой замечательный контральт, что если бы она была иностранка, то сделалась бы европейской знаменитостью и нажила бы себе богатство.

Кавос начал ставить большие оперы с русскими певцами. Публика охотно слушала их. Но, к несчастью, Воробьева не долго пела на сцене, она потеряла голос по следующему обстоятельству: на репетиции Воробьева почувствовала неловкость в горле и заявила, что не может петь вечером в «Семирамиде». Но Гедеонов раскричался на нее:

– Ты воображаешь, что я для тебя стану делать перемену спектакля? Изволь петь.

Гедеонов всем артистам говорил «ты», исключая моего отца, – вероятно, зная его историю с Тюфякиным.

Воробьева расплакалась и пела вполголоса на репетиции. Приехав вечером в театр, она чувствовала себя хуже и просила хоть сделать анонс, чтобы публика была снисходительна к ней. Гедеонов снова раскричался и погрозился, что на неделю засадит ее в бутафорскую и сделает вычет из жалованья. Артисток никогда не сажали в бутафорскую, но для Гедеонова закона не существовало.

– Я проучу всех, кто у меня вздумает капризничать! Смотри, не важничай у меня, я тебя вышколю! – грозил пальцем у лица Воробьевой, говорил Гедеонов перед поднятием занавеса.

Воробьева выдержала всю оперу и пела так, что публика пришла в восторг и аплодировала ей до конца.

Гедеонов в антракте продолжал допекать Воробьеву:

– Что, не могла петь? Я тебя, голубушка, отучу ломаться перед мной!

На другое утро Воробьева не могла взять ни одной ноты, и голос у нее пропал навсегда.

Воробьева была тогда уже замужем за певцом Петровым.

Отец мой проходил со Степановой роль, когда она в первый год по выпуске должна была играть графиню в оперетке «Водовоз». Кажется, что так называлась эта маленькая опера. Сюжет ее состоял в том, что фея, покровительница одного графа, исправляет его капризную жену, превращая ее на несколько часов в жену водовоза, который бьет ее плеткой за неповиновение. Степанова никак не могла естественно вскрикнуть, когда водовоз должен ее ударить. Отец бился с ней долго. Тогда он приготовил заранее арапник и, когда дело дошло до момента, что графине надо вскрикнуть, неожиданно ударил Степанову арапником. Степанова на этот раз очень натурально вскрикнула. Она расплакалась, а отец, улыбаясь, ей сказал:

– Заживет! зато ты теперь знаешь, как надо на сцене вскрикивать от боли!..

Глава 3. Кукольник – Щепкин – Глинка – Знакомство с Белинским – Гоголь

Выбор пьесы для бенефиса всегда очень озабочивает артистов, и обыкновенно хлопоты начинаются за три месяца.

Был писатель-драматург Бахтурин, которому многие артисты заказывали пьесы для своего бенефиса. Мать моя тоже заказала Бахтурину драму для своего бенефиса. Он был мастер составлять эффектные афиши, – в его пьесах всегда было много действий с разными названиями. Бахтурин взял деньги вперед, но запил и ничего не писал. Тогда моя мать поступила с ним очень энергично. Она пригласила его обедать и заарестовала у себя. От Бахтурина были отобраны сапоги, сюртук; ему дали халат и туфли отца и заперли в кабинет, посылая для вдохновения утром и вечером по большому графину настойки. Бахтурин в несколько дней написал драму и был освобожден из-под ареста.

Меня очень интриговало, как это мать посадила под арест сочинителя и как он там сочиняет. Я выпросила у лакея графин с водкой, чтоб войти в кабинет.

Бахтурин был небольшого роста, с одутловатым лицом и всклокоченными, длинными, густыми, каштановыми волосами.

Завидев меня с графином, он встал со стула и, потирая руки, сказал:

– Вот спасибо, умная девочка, принесла графинчик. Меня ваша мамаша наказала... А вас наказывают?

– Да, только водки не дают! – отвечала я. Бахтурин замялся и, налив рюмку водки, продолжал:

– Пью за ваше здоровье! Вырастите большой и если вам придется тоже заказывать писать пьесы для вашего бенефиса, так вы не арестовывайте сочинителя, как ваша мамаша. Право, это не хорошо!.. Приносите мне всегда графинчик; я поболтаю с вами, это мне будет отдыхом, а то сиди один да все пиши.

Но мне не дозволили более носить графин Бахтурину и даже побранили лакея за то, что он исполнил мою глупую просьбу.

К отцу приезжал также Н. В. Кукольник, когда ставили на сцене его трагедию «Рука всевышнего отечество спасла», кажется, в бенефис Каратыгина; впрочем, наверно не помню. Наружность Кукольника была замечательно неуклюжа. Он был очень высокого роста, с узкими плечами, и держал голову нагнувши; лицо у него было длинное, узкое, с крупными неправильными чертами; глаза маленькие, с насупленными бровями; уши огромные, тем более бросающиеся в глаза, что голова была слишком мала по его росту.

В первый год моего замужества, он был у Панаева несколько раз вечером, вместе с своим братом, очень похожим на него, и с Брюловым, знаменитым художником. Бывали и другие литераторы, но я их не помню. Я не присутствовала на этих вечерах, но, разливая чай в столовой, слышала, как ораторствовал Кукольник своим протяжным, громким голосом.

У Кукольника назначены были дни раз в неделю, и Панаев сначала посещал его, но потом перестал бывать, Панаев рассказывал, что на этих вечерах Кукольник за ужином, выпив вина, говорил: «Кукольник велик! Кукольника потомство оценит!» У Кукольника на этих вечерах было очень мало литераторов, собирался преимущественно чиновный люд, который преклонялся перед ним, считая его великим талантом.

Не могу сказать, как отец познакомился с девицей-кавалеристом Александровой (Н. А. Дуровой). Она приехала к нему и пожелала видеть всех его детей. Мать привела ее в нашу комнату. Я знала, что она была на войне и ранена. Александрова уже была пожилая и поразила меня своей некрасивой наружностью. Она была среднего роста, худая, лицо земляного цвета,

кожа рябоватая и в морщинах; форма лица длинная, черты некрасивые; она щурила глаза, и без того небольшие. Костюм ее был оригинальный: на ее плоской фигуре надет был черный суконный казакин с стоячим воротником и черная юбка. Волосы были коротко острижены и причесаны, как у мужчин. Манеры у нее были мужские; она села на диван, положив одну ногу на другую, уперла одну руку в колено, а в другой держала длинный чубук и покуривала.

Композитор Верстовский, когда приезжал в Петербург, бывал у нас. Он тогда был директором московского театра. Репина, актриса московского театра, всегда приезжала вместе с Верстовским. Она считалась хорошей артисткой. Оба они уже были пожилых лет. Наружность Верстовского как-то стусевалась в моей памяти; помню одно, что в его наружности ничего не было особенного: росту он был среднего, сухощав, с зачесанными височками – и на лбу небольшой хохолок.

Я больше рассматривала Репину. Она была брюнетка среднего роста, ни толста, ни худа. Черты лица не крупные, глаза черные или темные, но блестящие, зубы белые, и когда она улыбалась, то ее лицо делалось красивым. Говорили, что Репина имеет большое значение в московском театре и что по ее милости дочь Щепкина не была принята на московскую сцену.

Но возвращаюсь назад. Отец был очень озабочен выбором пьесы для своего бенефиса и очень обрадовался, когда молодой литератор Иван Иванович Панаев привез ему свой перевод «Отелло» Шекспира. Отец виноват в том, что над Панаевым впоследствии смеялись, что он, не зная английского языка, поставил на афише: «Отелло, перевод с английского». Панаев сказал отцу, что переводил с французского, но что его приятель, знающий хорошо английский язык, поверял с ним каждую фразу с английским текстом. На афише и был выставлен перевод с английского.

Отец не знал, кому дать роль Дездемоны. Молодые артистки того времени усвоили себе водевильную дикцию и манеры. Не могу сказать, сам ли отец надумал, или ему кто подал мысль, но он дал разучить роль Дездемоны старшей моей сестре и, прослушав ее, решил, что она может сыграть эту роль. Отец много с ней занимался.

В. А. Каратыгин играл Отелло, отец – Яго, мать – его жену. Наружность сестры подходила к роли Дездемоны; она была очень красива, высокого роста, голос имела звучный, так что дебют сошел очень удачно. Сестра была принята на сцену, но недолго оставалась, потому что вышла замуж.

Старшие мои сестры и тетки вели затворническую жизнь, всегда сидели в своей комнате, им не дозволялось входить в залу, когда по вечерам собирались гости. Отец и мать обедали с гостями отдельно. Этот порядок мать завела давно, как только дети стали подрастать. Но Глинка нарушил это затворничество. Панаев его познакомил с отцом. Глинка ставил свою оперу «Жизнь за царя», и у нас устраивались спевки и репетиции; приезжали Петров, Воробьева, Л. И. Леонов (Шерпантье), Степанова, Панаев, младший сын Гедеонова Миша (еще студент), камер-юнкер Д. П. Хрушев, состоявший по особым поручениям у министра двора, автор либретто оперы барон Е. Ф. Розен, не пропустивший ни разу этих собраний. Он упивался своими стихами и посматривал многозначительно на Панаева, как на литератора, который должен оценить его стихи. Розен пренаивно приписывал успех оперы Глинки своим стихам.

Когда Глинка стоял возле барона Розена, то выходил сильный контраст. Глинка был маленького роста, смуглый, живой, с хохолком на лбу, а барон Розен, тип немца, высокий, неподвижный, с маленькой головой, с прилизанными светлыми волосами и светлыми голубоватыми глазами, имевшими какое-то умильное выражение.

Глинка иногда посреди пения тенора Леонова с силою ударял по клавишам рояля, вскакивал со стула и начинал ходить по комнате, закинув голову и заложив пальцы за жилет. Поуспокоясь немного, он выпивал стакан красного вина, бутылка которого всегда стояла перед ним на рояле. После этих репетиций Глинка очень уставал. Я слышала, как он говорил отцу

после ухода певцов, что его опера не может иметь успеха, только одна Воробьева споет роль Вани, как следует.

– Это редкая певица, – говорил он, – такие голоса появляются на сцене веками. Надо ее беречь, как драгоценность! А она, вот, в дождь, в слякоть, поехала домой на извозчике, ну, долго ли ей простудить горло! Дирекция ваша олухи, такой певице надо было бы назначить большое жалованье, а не грошовое, чтоб она имела комфорт! Дураки!..

Глинка горячился, говоря это.

– Разве Петровым вы недовольны? – спросил отец.

– Чувства нет, голос деревянный!.. Степанова поет верно и голос большой – огня нет! А уж кто провалит меня, так это Леонов. Где нужна сила голоса – он сипит!

Однако успех «Жизни за царя» был блистательный. В первые годы моего замужества, т. е. в начале сороковых годов, Глинка как-то периодически бывал у нас: то зачастит ходить каждый день, то перестанет. У нас он сочинил романс: [[В крови горит огонь желаний (Глинка)«В крови горит огонь желаний»]]. Мы сидели за вечерним чаем, было несколько человек гостей. Панаев любил читать стихи и прочел это стихотворение между другими стихами Пушкина. Глинка, расхаживавший по комнате, сел за фортепьяно и стал брать аккорды, что-то мурлыча про себя. Через несколько минут он сказал: «Панаев, замолчи!» – и пропел романс. Голоса у Глинки совсем не было, но он пел мастерски и выразительно.

Глинка не мог обойтись без вина, и когда приходил, то требовал себе коньяку и попивал его рюмка за рюмкой, вместо чая.

Раз Глинка приехал к нам вечером, поспешно поздоровался, сейчас же сел за фортепьяно и стал играть «Лезгинку» из «Руслана». Проиграв ее, он встал и сказал:

– Ехал к вам, не давал мне покоя этот мотив, так вот и звенит в ушах.

В 1844 году, в первую мою поездку за границу с мужем, в Париже мы встретились с Глинкой; он приходил к нам по вечерам с несколькими общими знакомыми, русскими путешественниками, пить чай и, по русскому обыкновению, засиживался до 2 и 3 часов ночи. В Париже, по окончании театра, улицы делаются пустыми, в домах все жильцы ложатся спать и водворяется тишина; а у нас, при уходе гостей, всегда происходил шум, потому что Глинка, выпив, не мог идти сам по винтовой деревянной лестнице, сильно навощенной. Он сердился, зачем его ведут под руки с лестницы. В глубокой тишине гулко раздавались голоса. Двери у жильцов открывались, высовывались головы, повязанные пестрым фуляром или в белых колпаках, и в ужасе спрашивали: «пожар в доме?»... «горит?»... Их успокаивали, и головы исчезали с бранью.

Иногда я отказывалась давать много вина Глинке, но он приставал к Панаеву, который и исполнял его желание.

Глинка жалел, что в нашей парижской квартире не было фортепьяно; ему часто приходила охота петь. Иногда он жаловался, что вдохновение его оставило.

– Бывало, покоя нет, так и звучат в ушах разные мелодии, а теперь только пустой шум гудит.

Глинка гораздо ранее нас уехал из Парижа. Весной, в пятидесятом году, я поехала, по предписанию докторов, брать морские ванны. В Варшаве я остановилась отдохнуть. Утром я поехала осматривать город; проводник из отеля, сопровождавший меня, привез в Саксонский сад, расположенный в центре города. В известные часы в Саксонском саду много гуляющих, и я встретила петербургского знакомого кн. А. М. Голицына, которого более года не видела, хотя и знала, что он сделался варшавским жителем, но не нашла нужным извещать его о своем прибытии, так как на другой же день намеревалась уехать. После обычных расспросов, Голицын сказал мне:

– Знаете ли вы, что Глинка здесь?

Голицын был большой поклонник Глинки, они вместе бывали у нас в Петербурге. Я знала о плохом состоянии здоровья Глинки и спросила о нем.

– Очень плохо! – с грустью ответил Голицын, – вы его не узнаете, так изменился он и физически, и нравственно. Он наверно захочет вас видеть, когда узнает, что вы здесь.

– И я буду рада его повидать, – отвечала я, – пусть приезжает вечером, потому что я завтра уеду из Варшавы.

– Нет, вы должны остаться хоть еще на день, потому что я вас буду просить свести Глинку в театр посмотреть, как танцуют мазурку на варшавской сцене. Я его упрашивал, но он не хочет, а вам не откажет.

Я согласилась остаться еще на день, чтобы ехать в театр. Вечером Голицын приехал ко мне с Глинкой. Я не могла скрыть своего удивления при виде Глинки: это был совершенно другой человек. Он казался полным, лицо его было одутловато и желто-синеватого цвета; взгляд апатичный, прически прежней не было, волосы лежали прямо и вдобавок он отрастил себе усы. Прежней живости в его движениях не было и помину; он тяжело дышал, поднявшись в мой номер, тогда как нужно было сделать всего несколько ступенек; голос у него был глухой, сиповатый, и он уже не закидывал задорно своей головы.

– Что, я сильно изменился? – спросил Глинка меня. – Я очень обрадовался, узнав, что вы здесь, ведь до меня дошел слух, что вы уж скончались. Я очень жалел.

– Да, зимой я была опасно больна, но отдумала умирать, – смеясь, ответила я.

– И отлично сделали, скверно умирать, – сказал Глинка.

Я предложила ему красного вина. Глинка улыбнулся и заметил:

– По-старому думаете, что Глинка и вино неразлучны!.. Нет, спасибо, я теперь на стакан воды чуточку наливаю красного вина.

Подали самовар, я стала разливать чай. Глинка, до этого разговаривавший как-то вяло, как бы одушевился и сказал:

– Как вы мне напомнили прошлое, когда я пивал у вас чай, впрочем, вернее сказать – коньяк... А помните нашу встречу в Париже? Как мы у вас засиживались до двух, трех часов... Вы часто хитрили, говоря, что нет больше вина, а оказывалось, что оно есть... И хорошо бы вы сделали, если бы не давали мне пить столько вина!.. На что я теперь похож!

Я поспешила переменить разговор и напомнила ему, как он ставил свою первую оперу и репетировал ее с певцами у моего отца.

– Как не помнить, тогда во мне жизнь была ключом, я тогда воображал, что десятки опер сочиню... Как только выздоровлю, запрусь в деревне и наверстаю потерянное время... Удивлю всех, мои оперы будут ставить на сцене одну за другой... Только бы мне стряхнуть с себя эту мерзостную полноту.

Голицын завел разговор о театре в Варшаве. Я стала просить Глинку поехать со мною в театр, но он на это ответил:

– По правде вам сказать, меня теперь ничто не интересует.

Но я продолжала его спрашивать.

– Хорошо. Я поеду с вами, только с одним условием: вы несколько дней поживете в Варшаве, а я к вам вечером буду приезжать пить чай да вспоминать прошлое.

На другой день утром Голицын заехал ко мне на минутку известить, что он с Глинкой заедет за мной и мы вместе поедem в театр.

– Мазурку будут танцевать после драмы, – объявил он мне.

Я решила ехать попозже в спектакль, чтобы не утомить Глинку.

Глинка не заметил нашей хитрости, что мы за самоваром просидели довольно долго, стараясь развлечь его разговором.

Мы приехали к последнему акту драмы. Ложа наша была у самого края сцены, так что у нас только с одной стороны были соседи. Голицын сказал нам, что возле нашей ложи будет

сидеть жена наместника с сыном. Я слышала, что она была сестра Грибоедова, и посматривала на нее, отыскивая в ней сходство с братом, но не нашла. Княгиня Е.А. Паскевич была рослая и полная женщина, пожилых лет, брюнетка, с резкими чертами и с надменным выражением лица. Ее сын Федор, очень худенький, но красивый юноша, казался еще тоньше перед матерью. Он был в офицерском мундире.

Я заметила, что из лож и из первых кресел партера зрители смотрят в бинокль на Глинку; но он этого не видел. Усевшись рядом со мной на первом месте, он положил руки на борт ложи и сонливо смотрел на всех.

Голицын разговаривал с нашими соседями. Глинка безучастно глядел на игру артистов и даже, как мне казалось, подремывал. Публика в партере преобладала военная, и в ложах сидело много русских дам.

Кончилась драма. Глинка, как бы обрадовавшись, спросил меня: «Домой едем?» Но я ему объявила, что непременно хочу видеть, как танцуют мазурку поляки.

– Вот деспотка! – заметил Глинка и опять принял свою прежнюю позу. Но при первых звуках оркестра, который заиграл мазурку из «Жизни за царя», Глинка встрепенулся, апатия его исчезла. Как только оркестр умолк, в первых рядах кресел все встали и, обратись к нашей ложе, начали аплодировать.

Глинка сначала не понял, что ему делают овацию, и с удивлением вопросительно поглядел вокруг. Я поспешила встать и оставить его одного. Княгиня Паскевич, смотря на Глинку, слегка похлопала в ладоши. Глинка поклонился публике, тогда еще сильнее раздались аплодисменты; русские дамы в ложах последовали примеру княгини и тоже аплодировали.

Видя сияющее лицо Голицына, я догадалась, что все это устроил он; вот почему ему так и хотелось затащить Глинку в театр.

Голицыну было легко устроить овацию: он принадлежал к высшему кругу по своему титулу и по своему богатству, и в Варшаве был свой человек в доме наместника, имел много знакомых между военными, и ему стоило только оповестить всех, что Глинка будет в театре и ему следует оказать приветствие от русских.

Непосвященные зрители остались в недоумении, что значат эти аплодисменты.

Когда начались танцы, Глинка мне сказал:

– Не стыдно вам делать заговоры против вашего старого знакомого?

Он не поверил, что я не была участницей в этом деле.

После мазурки аплодисменты были оглушительные, потому что и непосвященная публика аплодировала своему национальному танцу и требовала повторения. Глинка, видимо, был утомлен, и мы вышли из ложи. Он молчал дорогой, может быть, от слабости, и дремал. Ночь была очень темная, на неосвещенной театральной площади двигались как бы блуждающие огоньки. Голицын объяснил мне, что это проводники с фонарями, которых нанимает пешеходная публика, возвращаясь из театра домой, потому что тогда варшавские улицы и переулки были так темны, что можно было поломать себе ноги. На площади у дворца, где жил наместник, пылали два большие костра, около них стояли и сидели казаки; оседланные лошади находились тут же, недалеко от костра. Это был патруль, который целую ночь объезжал вокруг дворца.

Когда меня подвезли к отелю. Глинка, прощаясь со мною, сказал:

– До завтра, заговорщица!

Но я более не видела Глинки. Он прихворнул, и доктор запретил ему выходить из дому несколько дней, а я уехала из Варшавы.

Это была последняя моя встреча с Глинкой.

Со дня моей свадьбы, бывшей в 1839 году, я рассталась с театральной миром. Впрочем, в Москве, куда мы с мужем поехали тотчас после венца, я в доме Михаила Семеновича Щепкина видела московских артистов. Сергей Васильевич Шумский (Чесноков) тогда был молодым человеком.

Я слышала из соседней комнаты, как Щепкин учил его дикции и отучал от природного недостатка в выговоре:

Шумский тогда заметно шепелявил. Щепкин заставлял его по несколько раз повторять одно и то же слово.

– Михаил Семенович, – говорил Шумский, – право не могу лучше выговорить!

– Врешь, трудом можешь поправить природный свой недостаток, будешь произносить хорошо.

И точно, Шумский впоследствии едва заметно шепелявил.

Я познакомилась с комиком Живокини и с некоторыми второстепенными артистами, фамилии которых не помню.

Из семейства Щепкина я знала одну младшую его дочь, которую застала в постели; у нее развилась сильнейшая чахотка. У Щепкина было несколько взрослых сыновей, уже студентов, а старший сын окончил университетский курс. Но кроме сыновей, Щепкин воспитывал троих племянников, оставшихся малолетними сиротами после смерти своих родителей. Племянники тоже были студенты. Старшая дочь Щепкина была болезненная девушка.

У жены Щепкина было очень доброе, оригинальное лицо. Она была турчанка и маленькой привезена каким-то барином в Россию: ее окрестили в православную веру, она воспитывалась в барском доме и из него вышла замуж за Щепкина.

В семействе Щепкина жили две пожилые его сестры, которые меня поразили, когда меня привели наверх в их комнату познакомиться с ними. Они сидели на кроватях, поджав ноги по-турецки, с длинными чубуками; обе они были маленького роста, очень полные, и имели вид огромных мячиков. Не понравились они мне; потом я узнала, что эти две пожилые девицы много делали неприятностей своим племянницам и их кроткой матери. У Щепкина жила тоже и его старушка-мать; она уже превратилась в ребенка от старости лет и целыми днями играла в дурачки, для чего при ней находилась бедная старушка-компаньонка, которая должна была всегда оставаться в дураках, иначе ей доставалось от капризной благодетельницы, выгонявшей ее вон из комнаты и попрекавшей куском хлеба.

Сыновья Щепкина предупредили меня, чтоб я на вопрос их бабушки отвечала, что не умею играть в дурачки, а то она сейчас же засадит играть с собой. Бабушка удивила меня своим вопросом, когда меня отрекомендовали:

– Чьих?

Внуки ей отвечали что-то за меня. Бабушка, бывши сама прежде крепостная, задавала этот вопрос всякому новому лицу.

Она обижалась, если ее не знакомили с гостями, но за старостью на другой же день забывала гостью и снова обращалась к ней с вопросом:

– Чьих?

Я привыкла в своем большом семействе видеть огромные блюда за столом, но и меня удивила громадность блюд в доме Щепкина. Впрочем, за столом сидело множество народа; кроме своего большого семейства, всегда обедали гости и бедные студенты, являвшиеся каждый день, по три, по четыре человека, обедать к Щепкину. В прежнее время учащийся бедняк всегда находил, где пообедать. К нашему отцу тоже ходили два студента каждый день обедать года два подряд, но им подавался обед отдельно.

Самовар подавался у Щепкиных такой громадный, что пар от него валил, как из тендера.

У Панаева было много знакомых в Москве, и он утром делал визиты, а вечером был приглашаем к кому-нибудь в гости. Панаев очень много хлопотал, чтобы московские писатели доставляли свои статьи в «Отечественные Записки».

Я видела многих московских литераторов, которые сотрудничали в «Отечественных Записках»: Н. Ф. Павлова, его жену, Н. А. Мельгунова, Д. М. Перевощикова, А. С. Хомякова,

М. Н. Каткова и К. С. Аксакова. С ними со всеми я хотя познакомилась, но ни с кем не вступала в разговоры по своей робости.

С первым из литераторов я познакомилась с Белинским, на другой же день моего приезда в Москву. Панаев завез меня к Щепкиным, а сам отправился к кому-то на вечер, где должны были собраться московские литераторы. Старшая дочь Щепкина чувствовала себя нездоровой, лежала в постели у себя в комнате наверху и прислала брата за мной. Я нашла в ее комнате молодежь. У печки, прислонясь, стоял белокурый господин; мне его представили, – это был Белинский. Он не принимал участия в общем разговоре, только понюхивал табак, но когда зашел разговор об игре Мочалова, Белинский заговорил, и я запомнила его сравнение игры двух артистов.

– Смотри на Каратыгина, – сказал он, – ни на минуту не забываешь, что он актер; а в Мочалове представляется человек со всеми его достоинствами и пороками.

С Белинским я стала видаться каждый день, он приходил к нам утром, пока еще Панаев не уезжал с визитами, и постоянно беседовал о литературе.

Белинский смотрел на меня, как на девочку, чем я тогда в сущности и была, поддразнивал меня, чем мог. Я сердилась, ссорилась с ним, но скоро мирилась.

Мы жили на Арбате. Белинский нанял себе комнату от жильцов – против нашего дома, во дворе – и пригласил нас на новоселье пить чай. Комната была у него в одно окно, очень плохо меблированная. Я вошла и удивилась, увидя на окне и на полу у письменного стола множество цветов.

Белинский, самодовольно улыбаясь, сказал:

– Что-с, хорошо?.. А каковы лилии? Весело будет работать, не буду видеть из окна грязного двора. Любуясь лилиями, я спросила Белинского:

– А должно быть, вам дорого стоило так украсить свою комнату?

Белинский вспыхнул (он при малейшем волнении всегда мгновенно краснел).

– Ах, зачем вы меня спросили об этом? – с досадою воскликнул он. – Вот и отравили мне все! Я теперь вместо наслаждения буду казнить, смотря на эти цветы.

Панаев его спросил:

– Почему вы будете казнить?

– Да разве можно такому пролетарию, как я, позволять себе такую роскошь! Точно мальчишка: не мог воздержаться себя от соблазна!

Денежные средства Белинского тогда были очень плохи. Панаеву очень хотелось, чтобы Белинский сделался постоянным сотрудником «Отечественных записок», в успехе которых он принимал самое живое участие. Панаев тогда отдавал в этот журнал свои повести даром. Впрочем, не он один, а были другие литераторы, которые делали то же самое. Вот какие были в те времена аркадские взгляды в литературе.

Константин Сергеевич Аксаков привез свою старшую сестру познакомиться со мною. Я была очень сконфужена, принимая в первый раз визит, но они оба сумели побороть мою робость. Аксаков мне с первого раза очень понравился, в его лице было такое открытое выражение, такая простота в манерах, что моя робость исчезла. Аксаков был рослый, широкоплечий молодой человек; его каштановые волосы слегка курчавились. Его нельзя было назвать красивым, но лучше всякой наружной красоты отражались на его лице душевные качества. Марья Сергеевна тоже была очень симпатичная. Они нас пригласили обедать от имени матери и отца. Как ни понравились мне оба молодые Аксаковы, я чувствовала робость ехать к старикам Аксаковым, но должна была ехать, потому что Панаев сказал мне, что это необходимо.

Собственный дом Аксаковых, кажется, был на Арбатской площади. Я помню хорошо, что против их дома стояли большие весы и валялись клоки сена на площади.

В зале нас встретили старики Аксаковы и были очень приветливы ко мне. Пришла Марья Сергеевна и сказала отцу и матери:

– Идите к гостю в кабинет, а мы пойдем в сад.

Сад для города был очень большой, и в нем было множество белых, махровых роз.

Мы уселись в беседке и заговорили о сочинениях Гоголя.

Марья Сергеевна благоговела перед его талантом и сказала мне:

– К нам неожиданно сегодня приехал обедать Гоголь; вот вы увидите самого автора.

Нас позвали обедать. Марья Сергеевна, идя в комнаты, сказала:

– Я вас должна предупредить, чтобы вы не удивились, если вам не представят Гоголя.

Он не любит теперь никаких новых знакомств, особенно с дамами. Он такой стал болезненный, нервный, не может выносить даже за столом шума, так что меньшие мои братья и сестры сегодня обедают отдельно.

Я была очень довольна, что избавлюсь от представления мне Гоголя. Я очень конфузилась в такие минуты. Мы вошли в столовую одновременно, как в нее входил Гоголь с хозяином дома и Панаевым. Хозяйка дома усадила меня возле себя, а по другую сторону посадила Гоголя; ему было поставлено вольтеровское кресло. На противоположной стороне сидел хозяин дома с сыном и Панаевым. Трудно было иметь более сходства, какое я нашла у Аксакова-сына с отцом. Подростки сыновья сидели между Панаевым и Гоголем, а возле меня Марья Сергеевна и ее сестра лет 14.

У прибора Гоголя стоял особенный граненый большой стакан и в графине красное вино. Ему подали особенный пирог, жаркое тоже он ел другое, нежели все. Хозяйка дома потчевала его то тем, то другим, но он ел мало, отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном. Гоголь все время сидел сгорбившись, молчал, мрачно поглядывая на всех. Изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка, когда о чем-то горячо стали спорить Панаев с младшим Аксаковым.

Когда встали из-за стола, Гоголь сейчас же удалился опять в кабинет отдыхать после обеда. А мы все уселись на большой террасе пить кофе. Хозяйка дома отдала приказание прислуге, чтобы не шумели, убирая со стола.

Марья Сергеевна пригласила меня пойти посмотреть, как дети на лужайке играют в серсо. Я пошла с ней; она меня спросила, какое на меня произвел впечатление Гоголь. Я с наивной откровенностью ответила, что он, должно быть, очень сердитый и капризный. Она стала разубверять меня, что он от болезни сделался такой молчаливый и раздражительный и что сегодня он был особенно не в духе.

Я, Марья Сергеевна, молодой Аксаков и Панаев приняли участие в игре детей, а старики Аксаковы сидели на скамейке и смотрели на нашу игру. Через полчаса мы распростились с радушными хозяевами.

Глава 4. Казанские помещики – Белинский в Петербурге – Одоевский – Кольцов – Лермонтов – Соллогуб

Прожив в Москве около двух месяцев, мы в июне 1839 года отправились в Казанскую губернию. Панаеву уже года два как досталось наследство от дальнего родственника Ал. Вас. Страхова. Наследников было много, и они никак не могли до этого времени съехаться разом, чтобы приступить к разделу.

Теперь съездить в Казань ничего не стоит, а тогда это было продолжительное и небезопасное путешествие; переправлялись через реки в дырявых барках или на паромах. Мы чуть не утонули, когда поднялась на Волге буря, и нас было понесло бог весть куда от пристани, потому что перевозчики трусили, бросили весла, руль, стали плакать и молиться. Нас спас ямщик-татарин, который не только ругал перевозчиков, заставляя их грести, но даже бил их, а сам управлял рулем.

Остановки на станциях в ожидании лошадей были продолжительные, едой надо было запастись в больших городах, иначе можно было наголодоваться. Но меня не утомляло длинное путешествие; мне, никогда не выезжавшей из Петербурга, на каждом шагу представлялось столько нового и любопытного.

От Казани надо было еще ехать 200 верст до имения, где собрались сонаследники. Мы приехали в него рано утром. Двор был громадный, и от барского дома тянулись с двух сторон бесконечные постройки для дворовых, которых было до двухсот душ. Когда въезжал наш тарантас во двор, множество дворовых выскочило смотреть на нового прибывшего наследника. На крыльце барского дома появилось несколько рослых лакеев, с всклокоченными волосами и плохо бритыми подбородками, в длиннополых сюртуках из толстого сукна травяного цвета. Я узнала потом, что наследники разрешили шить эти сюртуки из сукна, большой запас которого нашелся у умершего помещика для обивки пола. Лакеи износили свои фраки из тонкого сукна, в которых постоянно ходили при покойном барине.

Старик в молодости путешествовал по Европе, жил долго в Англии, что тогда было редкостью между русскими помещиками. По всему было видно, что он желал подражать по возможности английским лордам. Завел конский завод английских скаковых лошадей, к обеду надевал фрак и имел большой погреб, выписывая вина из Англии, Франции и Германии.

В его теплицах было много дорогих растений, в оранжерее зрели сливы, персики, виноград и ананасы. Конечно, был оркестр из крепостных музыкантов; не знаю, хороши ли были музыканты, но инструменты были дорогие: при разделе Панаеву досталась скрипка одного старинного мастера, которую Панаев продал за четыре тысячи, причем некоторые уверяли, что он очень продешевил.

Наш ранний приезд нарушил мирный сон наследников; все они поднялись ранее обыкновенного.

Хотя Панаев был еще молодой человек сравнительно с другими наследниками, но тогда литераторов было не много, и на них смотрели в провинции, как на любопытную редкость, и побаивались их, думая, что они сейчас опишут всех в смешном виде. К тому же Панаев был петербургский житель, а это тоже имело значение в глазах помещиков, живших десятки лет безвыездно в своих деревнях, как сурки в норах.

Фамилия Панаевых отличалась литературными дарованиями. Об этом упоминается в «Хронике» С. Т. Аксакова. Даже две тетки Панаева сотрудничали в журнале «Благонамеренный», дядя Панаева, Владимир Иванович, тоже был литератором, он писал стихи об аркадских пастушках. Дядя не приехал на раздел, потому что служил директором канцелярии министер-

ства двора. Его заменял чиновник из губернии, которому за это был обещан орден, дающий право на личное дворянство. Перед Владимиром Ивановичем Панаевым все родственники благоговели.

До завтрака я уже познакомилась со всеми родственниками, оказавшимися большими оригиналами. Один старик-холостяк, владелец двух тысяч душ, маленький, прыщавый, в кам-готовом милиционном мундире, носил в боковом кармане часы с репу, которые каждый час играли разные пьесы. Этот старик жил султаном в своем имении и даже выстроил каменный дом в два этажа для гарема, в котором находилось несколько десятков крепостных девушек. С некоторыми из них он даже приехал на раздел.

Младший его брат был добряк, гораздо моложе его и женатый. Супруга его приводила меня в ужас тем, что она проделывала со своим семилетним сыном. Она предназначала его в лейб-гусары и, чтобы приготовить к придворным балам, каждое утро на четверть часа ставила мальчика в устроенную деревянную форму, где были сделаны следки так, что ноги приходились пятка с пяткой. Мальчик, стоя в этой позиции, от скуки развлекал себя тем, что плевал в лицо и кусал руки дворовой девушке, которая обязана была держать его за руки.

Для упражнения будущего офицера, помещица приказывала созывать всех дворовых детей на лужайку в сад, а сынок, вооруженный длинным гибким прутом, бил немилосердно детей, которые плохо маршировали перед ним. Панаев, увидев такие упражнения будущего офицера, надрал ему уши и освободил дворовых детей от пытки. Сынок заорал благим матом, а маменька, вся красная, выбежала спасать его.

Тогда она придумала более мирное развлечение для сыночка. Ему давался ящик, где хранились его дареные деньги; мальчик играл золотыми и серебряными монетами. Этот семилетний мальчик заливался горькими слезами, когда родилась у него сестра.

– О чем ты плачешь? – спросила я его.

– Как же мне не плакать, – отвечал будущий лейб-гусар, – теперь я должен буду отдать из наследства седьмую часть.

Мать очень восхищалась сообразительным умом своего сыночка.

Все наследники приехали с своей дворней. Помещица привезла пять дворовых девушек, которых каждый день била и щипала при своем туалете. В бане она мылась несколько часов и в такой жаре, что девушек выносили замертво. В бане помещица подкрепляла свои силы завтраком и чаем, а дворовые девушки должны были находиться без еды. Помещице было слишком тридцать лет, но она скрывала свои годы и очень заботилась о своей красоте. Лицо у нее было очень красное, покрытое веснушками; на ночь она обкладывала лицо парным мясом, вырезав в холсте дыры для глаз, ноздрей и рта, и в этой маске ложилась, или, вернее, садилась в постель, потому что клала под голову целую массу подушек, чтобы к утру лицо ее не было так красно.

Помещица была очень ревнива; она приказала своему мужу спать в соседней комнате, а так как это была бильярдная, то ему клалась перина на бильярде. Все-таки, опасаясь измены, ревнивая супруга сажала под бильярд на всю ночь старую дворовую женщину для того, чтобы она извещала ее немедленно, если супруг уйдет из комнаты. Раз ночью старуха чихнула под бильярдом и разбудила помещика, которому вообразилось, что под бильярдом сидит убийца, и он поднял страшную тревогу.

Испуг помещика имел некоторое основание, потому что в Казанской губернии в этот год было сильное возбуждение крепостных крестьян против помещиков; совершались убийства помещиков из засад, а одного помещика сожгли на костре. В имении графа Блудова стояла сотня казаков для усмирения бунтующих крестьян, которые до полусмерти избили немца-управляющего. Новый управляющий иначе не выезжал в поле к работающим мужикам, как с заряженными пистолетами и в сопровождении казаков. В печать тогда подобного рода изве-

ствия не могли попасть. Было сделано строгое распоряжение тщательно скрывать эти волнения и следить за частной перепиской, чтоб печальные происшествия не могли распространяться.

Казанские помещики, знавшие за собой грехи, были перепуганы, переодевались в купеческое платье, если им приходилось ехать в дорогу; ложась спать, баррикадировали двери и окна комодами, столами и стульями; имели наготове заряженные пистолеты и ружья.

В первый день завтрак меня очень занимал оригинальный вид столовой.

Все наследники (а их было с детьми человек двадцать) завтракали и обедали вместе до раздела. За каждым стулом стоял рослый лакей с большой веткой в руках и, медленно помахиная ею над головой сидящих, отгонял мух. Лакеи злобно и мрачно поглядывали на всех наследников, зная, что теперь скоро решится их судьба – и многих навсегда оторвут от родины и родных.

В самый же день приезда я была посвящена в семейные тайны двух родственниц; каждая убеждала меня не верить в наружное расположение ко мне другой родственницы. Я не намеревалась входить в близкие отношения ни с худой чахоточной женой одного из дядей Панаева, ни с помещицей, готовившей своего сына в лейб-гусары, потому что обе они мне не понравились. Я решила удалиться от их общества, тем более, что жена другого дяди мне с первого взгляда понравилась; у нее было такое приятное, красивое лицо, она так хорошо обращалась с своими сыновьями, да и ее дети были хорошие мальчики, лет 14, 15, и мне было весело в их обществе.

Сначала приступили к разделу громадных сундуков, в которых хранилось много всякого хлама и разного старинного гардероба от сестер Страхова. Дикие, смешные сцены происходили при этом дележе; турецкие шали резались на пять кусков, чтобы поровну досталось наследникам, разбивали топором подносы и другое серебро, взвешивая его на весах. Несчастный посредник до хрипоты в горле урезонивал наследников, чтобы они не ссорились из за каждой тряпки и не затягивали дележа. Разделенные части должны были доставаться наследникам по жребию. При вынимании билетов на имение было ужасно смотреть на наследников: все стояли бледные, дрожащие, шептали молитвы, глаза их сверкали, следя за рукой дворового мальчика, который, обливаясь горькими слезами от испуга, вынимал билеты.

Почти все наследники были в отчаянии, что им выпал жребий не на ту деревню, которую им хотелось, и завидовали друг другу, высчитывая преимущества одной деревни перед другой.

Но самое потрясающее впечатление произвел на меня раздел дворовых.

Посредник сначала хотел разделить дворовых по семействам; но все наследники восстали против этого.

– Помилуйте, – кричал один, – мне достанутся старики да малые дети! Другой возражал:

– Благодарю покорно, у Маланьи пять дочерей и ни одного сына, нет-с, это неправильно, вдруг мне выпадет жребий на Маланью.

Порешили разделить по равной части сперва молодых дворовых мужского пола, затем взрослых девушек и, наконец, стариков и детей.

Когда настало время вынимать жребий, то вся дворня окружила барский дом, и огромная передняя переполнилась народом. Когда сделалось известным, что матери и отцы разлучены с дочерьми и сыновьями, то всюду раздались вопли, стоны, рыдания... Матери, забыв всякий страх, врывались в залу, бросались в ноги наследникам, умоляя не разлучать их с детьми. Я долго не могла прийти в себя от таких потрясающих сцен. Мне так опротивело пребывание в деревне, что я нетерпеливо ждала дня, когда мы уедем отсюда.

Панаеву удалось обменяться с дядями, отдав им рослого молодого лакея за тещедушную девочку, чтобы не разлучить семьи. Дяди подсмеивались над своим нерасчетливым молодым племянником и охотно соглашались на обмен. Одну взрослую дворовую девушку Панаев уступил даром, потому что мать умоляла его не разлучать ее с единственным детищем.

Я забыла упомянуть о разделе винного погреба: сначала разделили заграничные вина в бутылках, потом приступили к дележу домашних наливок, разлитых во множество громадных

бутылей. Наливку сливали с ягод, чтобы пришлось поровну каждому наследнику. Воздух в зале, где производилась разливка, пропитался винным спиртом, от которого можно было опьянеть. У некоторых наследников лица раскраснелись от пробы наливок, у лакеев также лица были красны; как ни следили за ними господа, они успевали тоже попробовать наливки, которую сливали, да и винные пары действовали на них.

На другое утро произошла страшная суматоха между наследниками при известии, что не разделенные еще гуси, свиньи и утки за ночь подошли. Это известие вызвало целую бурю: кто заподозревал в отравлении дворовых, кто помещицу, которой при ее богатстве ничего не стоило потерпеть убыток, кто кривую крепостную султаншу старшего дяди, находившегося в постоянной вражде с меньшим братом. За завтраком между наследниками начались колкости, как вдруг явилась птичница с радостным известием, что одна свинья начинает дрыгать ногами, а два гуся уже встали и бродят.

Некоторые наследники выскочили из-за стола, чтобы удостовериться собственными глазами в странном явлении. Дело объяснилось просто; лакеи утащили бутылки с ягодами к себе в избу, повыжали их хорошенько, добывая наливку, а выжимки выбросили на задний двор, свиньи наелись, а птицы наклевались этих выжимок и все опьянели.

При дележе лошадей тоже произошла суматоха. Лошадей было много на заводе, надо было их всех вывести из конюшни; конюхов не хватало и потому приказано было лакеям держать лошадей в поводу. Все наследники с детьми отправились на двор завода и стояли посредине, окруженные выведенными лошадьми. Ржанье было страшное; жеребцы рвались, становясь на дыбы. У одного лакея вырвался жеребец и пустился скакать по двору. От испуга и другие лакеи бросили повод. Поднялся гвалт, наследники спасались от бегающих по воле лошадей, дамы в паническом страхе дико визжали, дети плакали, конюхи орали. По счастью, я не пошла на середину двора, а стояла на крыльце флигеля и издали видела эту суматоху. В этот день дележ лошадей не состоялся.

Наконец, мы собрались уезжать в Москву, но Панаеву надо было заехать в доставшуюся ему деревню, чтобы сделать разные распоряжения.

Мне грустно было расставаться с одной только теткой и ее сыновьями; я их очень любила, а со всеми другими родственниками я с удовольствием простилась навсегда.

В доставшейся Панаеву деревне не было ни барского дома, ни дворовых людей. Вид деревни был довольно благообразный, потому что лет шесть тому назад она дотла сгорела и заново обстроилась. Мы остановились в чистой избе старосты, плутоватого мужика, который успел накопить себе достаточно денег и помышлял выкупиться на волю с семейством, что вскоре и сделал.

Сначала к нам явились на поклон бабы с приношениями: медом, яйцами, курами. Они по очереди отвешивали мне низкие поклоны и, по тамошнему обычаю, клали руку на руку, чтобы поцеловать у меня руку. Я целовалась с ними в губы, не давая своей руки. Бабы пугливо смотрели на меня, а некоторые плакали, только не от умиления; матери боялись, что новая помещица, вероятно, увезет у них юных сыновей или дочерей для своей дворни.

Затем явились мужики. Панаев вышел к ним на крыльцо и держал речь. С первого его слова «господа» я подумала, что мужики ничего не поймут в этой речи, говоренной литературным слогом. Мужики молча слушали его, и я не заметила на их лицах выражения радости, что они лицезреют своего нового помещика; напротив, они бросали на Панаева мрачные взгляды. После речи мужики отошли от избы старосты на несколько шагов и в каком-то недоумении тихо разговаривали между собой.

Я заметила, что плутоватый староста ухмылялся, когда Панаев держал речь к мужикам. Панаев в речи предложил мужикам избрать немедленно из своей среды старосту, которому они доверяли. Целый день мужики толпились на улице, о чем-то горячо толковали, но старосту не выбрали. Я послала купить орехов, пряников и вина для угощения крестьян. Панаеву пришлось

взять в посредники плутоватого старосту, чтобы он торопил мужиков скорей избирать себе старосту.

Угощение привело крестьян в более приятное расположение духа, женщины пели песни около нашей избы. Старостой выбрали себе крестьяне какого-то глуповатого, забитого мужика. Видно было по всему, что они воспользовались данным им правом и нашли для себя выгодным иметь глуповатого старосту, которым могли вертеть, как им угодно. Так оно и оказалось впоследствии.

Панаев долго толковал новому старосте об его обязанностях: не притеснять крестьян и аккуратно собирать с них оброк. Проводы крестьян, когда мы уезжали, были гораздо приветливее, чем их встреча. Панаев отменил барщину, отдав все поля и уголья крестьянам, с баб запретил брать побор холстом и живностью, так что оброку мужикам приходилось платить вполтину менее, чем прежде.

Узнав о таких распоряжениях Панаева, все соседние помещики вознегодовали на него, в том числе и родственники, укоряя его, что он подрывает помещичью власть.

По возвращении в Москву, мы прожили в ней несколько недель. Младшая дочь Щепкина встретила меня счастливой улыбкой, протянув мне исхудалую свою руку. Я увидела на ее пальце обручальное кольцо.

От Белинского я слышала, что в нее был влюблен молодой человек Б... и сделал ей предложение, но она отказала ему. Во время своей поездки вместе с отцом в Казань, где она играла, она познакомилась с адъютантом губернатора, который сделал ей предложение. Она была очень счастлива, и уже было условлено, что зимой жених должен приехать в Москву, чтобы жениться на ней. Невесте стала шить приданое, как вдруг адъютант раздумал и женился на дочери богатого помещика. Это так потрясло девушку, что она заболела, и у нее развилась чахотка. Странно, что, хотя старики Щепкины были крепкого здоровья, их старший сын и младшая дочь умерли от чахотки, старшая же дочь, болезненная, у которой также были все признаки чахотки, пережила младшую сестру и вышла замуж за одного из воспитанников своего отца. Б..., узнав о поступке адъютанта, вторично предложил свою руку Щепкиной, и на этот раз предложение его было принято, хотя дни невесты были сочтены. Больная сказала мне:

– Я сделалась невестой, пока вы были в деревне. Как встану, сейчас же будет моя свадьба. Ах, какая я была дурная, тщеславная и ветреная прежде! Как я могла не любить такого хорошего человека! Как выйду за него замуж, только и буду думать об одном, чтоб он был счастлив.

Понятно, что умирающую тешили, сделав обручение. Раз я приехала к Щепкиным и застала в горьких слезах жену Михаила Семеновича; она послала меня скорей к больной, чтоб я развлекла ее.

– Все плачет и не говорит мне, чем она огорчена, – сказала мне несчастная мать.

Больная потребовала, чтобы я поклялась перед образом, что отвечу ей искренно на ее вопрос. Я исполнила ее желание.

– Утром я посмотрела на себя в зеркало, – произнесла она в слезах, – и показалась себе такой страшной. Скажите, страшная я?

Я смело могла разуверить ее, что она вовсе не страшная, потому что, несмотря на болезнь, ее исхудалое, хорошенькое личико было все-таки красиво, и сделала ей выговор за то, что она попусту расстраивает себя.

Больная радостно улыбнулась и произнесла:

– Не буду, не буду больше плакать! В самом деле, как глупо расстраивать себя, когда мне надо быть покойной, чтобы скорее встать. Позовите маму ко мне.

Когда мать вошла, больная раздражительно сказала:

– Знаешь, что я не могу видеть слез, мне делается страшно тяжело!

Мать, едва сдерживая рыдание, уверяла дочь, что она вовсе не плакала.

– Пожалуйста, будьте все веселые вокруг меня и не огорчайтесь моими капризами, да их и не будет теперь; дайте сюда мои кофты, я хочу показать, какое приданое мне шьется.

Умиравшая невеста рассматривала свое приданое и спрашивала моего совета, какое лучше сделать себе венчалное платье.

В конце октября 1839 года Белинский поехал в Петербург с нами вместе, остановился у нас и прожил недели две, пока не устроился на своей квартире. Ему очень не нравилась обстановка барского дома матери Панаевой и множество крепостной прислуги.

Панаев мог быть очень богатым человеком. Он наследовал прекрасное состояние от бабушки и дедушки Берниковых. Они были ему не родные, но мать Панаева была их приемная дочь; они воспитывали ее, выдали замуж и после своего скорого вдовства она жила с ними. Дедушка и бабушка до безумия любили Панаева, который за месяц до своего появления на свет потерял отца. Дедушка и бабушка оставили ему хорошее наследство; близ Петербурга ему принадлежал берег Невы версты на четыре; землю брали на аренду и строили на ней фабрики и разные другие торговые заведения. Получался хороший доход, который с каждым годом мог увеличиваться. На этой земле, кроме того, находился барский дом, полный всякого добра: мебели, белья и серебра. Панаеву достался и капитал тысяч в пятьдесят. Все это опекуна-мать прожила, окружив себя приживалками и мошенниками-управляющими, так что когда Панаев женился и пожелал сам управлять своим наследством, то оказалось, что часть земли была продана, другая заложена, и долгов было столько, что надо было скорее продать оставшуюся землю, чтобы развязаться с долгами.

Мать Панаева, после смерти дедушки, переселилась в Петербург и жила по-барски. Она так умела обойти своего слабохарактерного сына, что он жил в полном неведении, откуда берутся деньги для богатой обстановки жизни матери.

Чиновник-делец, выбранный матерью, умел всегда заставить Панаева, когда было нужно, подписывать бумаги на продажу или залог участков земли; да и сам Панаев с детства привык жить по-барски и не мог ограничивать себя в своих ненужных прихотях.

В эту зиму по вечерам у Панаева, на его половине, собирались литераторы. Иногда Кукольник с своими поклонниками, Сахаров, Брюлов и другие. Но чаще собирался другой, небольшой кружок: Белинский, В. П. Боткин, бывшие школьные товарищи Панаева, и М. А. Бакунин, приехавший из Москвы, знакомил этот кружок с сочинениями тогдашних немецких философов.

Бакунин был замечательным диалектиком, и я заслушивалась его из своей комнаты, отделившейся только драпировкой от кабинета.

Наружность Бакунина была эффектная, он был огромного роста, выражение лица энергическое, с густыми, длинными, темными, курчавыми волосами. Голова его напоминала голову льва.

Когда мы переехали на отдельную квартиру, то Белинский очень часто ходил обедать к нам. Мы жили у Пяти Углов, против Коммерческого Училища в доме Пшеницыной. Осенью в 1841 году у нас жил М. Н. Катков. Панаев в своих воспоминаниях писал о его житье у нас. В эту зиму у Панаева были частые и многолюдные собрания по вечерам. Между прочими являлись приехавшие в Петербург – Кольцов, Огарев и другие московские писатели. Белинский находился под впечатлением стихов Кольцова и постоянно читал их наизусть. Тогда хлопотали об издании стихотворений Кольцова. Автор дал право Белинскому печатать те стихи, которые он найдет лучшими.

На эти литературные вечера являлся и князь В. Ф. Одоевский, – в карете с ливрейным лакеем. Это был единственный литератор, всюду выезжавший с лакеем. Над ним подсмеивались, но все его любили, потому что такого отзывчивого, благодушного человека трудно было отыскать. Он был предан всей душой русской литературе и музыке. Кто бы из литераторов ни обратился к нему, он принимал в нем искреннее участие и всегда по возможности исполнял

просьбы; если же ему это не удавалось, то он первый сильно огорчился и стыдился, что ничего не мог сделать. Манеры Одоевского были мягкие, он точно все спешил куда-то и со всеми был равно приветлив. Ему тогда, наверное, было лет сорок, но у него сохранились белизна и румянец, как на лице юноши.

Наружность Кольцова была совершенно иная: коренастый, небольшого роста, с круглым загорелым лицом и белокурыми волосами, зачесанными в височки. Одет он был постоянно в длинный сюртук, застегнутый наглухо, с черной косынкой, обмотанной вокруг плотной шеи. Я не выходила из своей комнаты на эти литературные собрания, да притом же была очень занята разливанием бесчисленного числа стаканов чая и распоряжениями об ужине. Раз Кольцов пил у нас чай; кроме него, были только Белинский и Катков. Кольцов был очень разговорчив и, между прочим, рассказывал, как первый раз сочинил стихи. «Я ночевал с гуртом отца в степи, ночь была темная-претемная и такая тишина, что слышался шелест травы, небо надо мною было тоже темное, высокое, с яркими мигающими звездами. Мне не спалось, я лежал и смотрел на небо. Вдруг у меня стали в голове слагаться стихи; до этого у меня постоянно вертелись отрывочные, без связи рифмы, а тут приняли определенную форму. Я вскочил на ноги в каком-то лихорадочном состоянии; чтобы удостовериться, что это не сон, я прочел свои стихи вслух. Странное я испытывал ощущение, прислушиваясь сам к своим стихам».

Кольцов рассказал, как он самоучкой выучился читать по лубочным книжкам, которые он покупал тихонько от отца. Он также комично описывал, как ехал в коляске по Воронежу с Жуковским и какое смятение произвело в городе, что с такой важной особой едет мещанин Кольцов. Жуковский тогда путешествовал по России с наследником цесаревичем Александром Николаевичем.

Я видела Лермонтова один только раз – перед его отъездом на Кавказ в кабинете моего зятя, А. А. Краевского, к которому он пришел проститься. Лермонтов предложил мне передать письмо моему брату, служившему на Кавказе. У меня остался в памяти проницательный взгляд его черных глаз.

Лермонтов школьничал в кабинете Краевского, перевернул у него на столе все бумаги, книги на полках. Он удивил меня своей живостью и веселостью и нисколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась.

В Петербург приехала жена Огарева, Марья Львовна, и привезла Каткову посылку от его матери. Но она потребовала, чтобы сам Катков приехал к ней за посылкой, желая с ним познакомиться. Жена Огарева была светская барыня, и к ней надо было явиться с визитом во фраке. Но у Каткова его не имелось. Смешно было видеть Каткова во фраке и во всем остальном платье Панаева, который был очень худой, а Катков плотного сложения.

Панаев снаряжал Каткова на этот визит, как невесту: сам ему повязывал галстук и пришел в отчаяние, что Катков перед одеванием пошел в парикмахерскую у Пяти Углов и явился оттуда круто завитой и жирно напомаженный какой-то дешевой душистой помадой. Панаев доказывал Каткову, что нельзя с такой вонючей помадой явиться в салон светской дамы, и Катков, веруя в знание светских приличий Панаева, покорился, смыл помаду с волос. Катков в узком платье не смел сделать движения, боясь, что на нем лопнет фрак. Меня удивило, что Катков так волнуется от визита к светской барыне. Он сам не раз говорил при мне, что презирает светское общество, что он студент-бурш, и подтрунивал над слабостью Панаева к франтовству и светскому обществу.

Катков возвратился домой в ужасном огорчении, с посылкой в руках, которую с досадой швырнул на пол. Его мать через какого-то знакомого просила Огареву передать сыну несколько пар белевых носков своей собственной работы и три пары нижнего белья из тонкого холста; все это было завязано в узелок старого носового платка, так что можно было видеть все в нем содержащееся. При узелке было письмо на серой бумаге, сложенное треугольником и запечатанное вместо печати наперстком.

Катков считал себя страшно скомпрометированным в глазах светской дамы этой посылкой, но он ошибся: вскоре Огарева пригласила его к себе на вечер очень любезной запиской. Я слышала разноречивые мнения о жене Огарева: одни говорили, что она пустая, напыщенная, светская барыня, совсем неподходящая к поэтической натуре ее мужа; другие, напротив, восхищались ею, находя в ней возвышенные стремления. Катков нашел Огареву очень образованной женщиной, интересующейся наукой, литературой и музыкой.

Вскоре после этого Катков уехал за границу. Не могу определительно сказать – долго ли он там пробыл, но не более года. Вернувшись из-за границы, Катков был у нас с визитом. В нем уже не было и тени прежнего студента-бурша, напротив, он имел вид величаво-глубокомысленный. Катков, пробыв в Петербурге только несколько дней, уехал в Москву. В продолжение долгой нашей жизни мы более с ним уже не встречались.

То время, о котором я вспоминаю, было очень тяжелое для литературы. Например, существовал цензор Красовский, настоящий бич литераторов; когда к нему попадали стихи или статьи, он не только калечил их, но еще делал свои примечания и затем представлял высшему начальству. Помимо тупоумия, Красовский был страшный ханжа и в каждом литераторе видел атеиста и развратника.

Панаев добыл примечания Красовского на одно стихотворение В. Н. Олина и всем их читал.

Вот эти примечания:

О, сладостно, клянусь, с тобою было жить,
Сливать с душой твоей все мысли, разговоры,
Улыбку уст твоих небесную допить.¹
И молча на тебе свои покоить взоры.²
О, дива милая! из смертных всех лишь ты
Под бурей страшною меня не покидала.
Не верила речам презренной клеветы
И поняла, чего душа моя искала.³
Что в мненьи мне людей?
Один твой нежный взгляд
Дороже для меня вниманья всей вселенной.⁴
О! как бы я желал пустынных стран в тиши,
Безвестный, близ тебя к блаженству приучаться,
И кроткою твоей мелодией души
Во взоре дышащей, безмолвствуя, пленяться.⁵
О! как бы я желал всю жизнь тебе отдать!^{6 7}
Все тайные твои желанья упреждать
И на груди моей главу твою покоить.⁸

¹ Примечание Красовского: «Слишком сильно сказано! Женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть небесною».

² Примечание: «Тут есть какая-то двусмысленность».

³ Примечание: «Должно сказать, чего именно, ибо здесь дело идет о душе».

⁴ Примечание: «Сильно сказано; к тому ж во вселенной есть и цари, и законные власти, вниманием которых дорожить должно».

⁵ Примечание: «Таких мыслей никогда рассеять не должно; это значит, что автор не хочет продолжать своей службы государю, для того только, чтоб быть всегда с своею любовницей. Сверх сего, к блаженству можно приучаться только близ Евангелия, а не близ женщины».

⁶ Примечание. «Что ж останется Богу?» У ног твоих порой для песней лиру строить.

⁷ Примечание: «Слишком грешно и унижительно для христианина сидеть у ног женщины».

⁸ Примечание: «Стих чрезвычайно сладострастный».

Тебе лишь посвящать, разлуки не страшась,
Дыханье каждое и каждое мгновенье,
И сердцем близ тебя, друг милый, обновясь,
В улыбке уст твоих печалей пить забвенья.⁹

Мы переехали к Аничкину мосту в угловой дом, Лопатина, против дома Белосельского. Белинский тоже переехал в этот дом, заняв во дворе маленькую квартирку с двумя комнатами по черной лестнице. Его квартира выходила окнами на конюшни и навозные кучи. Солнце никогда не заглядывало в эти окна. Нанимая раньше комнату от жильцов, Белинский жаловался, что ему мешали работать. Здесь же он не слышал постоянных разговоров и шума, да и ему нужно было жить поближе к редакции «Отечественных Записок».

Белинский каждый день обедал у нас. Его очень утомляли разборы глупейших книжонок, которыми он должен был заниматься для ежемесячного обозрения. В то время библиография играла важную роль в журналах, о каждой вышедшей книжонке надо было сделать отзыв и иногда приходилось читать штук двадцать таких книжонок. Белинский приходил к обеду в нервном раздражении и говорил: «Положительно тупею! строчишь, строчишь о всякой пошлости и одуреешь!»

Белинский никуда не ходил в гости, но любил очень театр и очень волновался, если хорошую пьесу плохо разыгрывали. Утром до обеда он писал или читал серьезные книги, после обеда опять уходил работать, а вечером, часов в десять, приходил к нам играть в преферанс, к которому очень пристрастился, сильно горячась за картами. Он все приставал ко мне, чтобы я также выучилась играть в преферанс.

– Гораздо было бы лучше играть с нами в преферанс, чем все читать вашу Жорж-Занд, – твердил он.

В воспоминаниях Панаева упоминается, какого мнения был Белинский об этом авторе, пока сам не стал читать Жорж-Занд в подлиннике.

– Мы и так с вами бранимся, а за картами просто подеремся, – отвечала я. – К тому же вам вредно играть в преферанс: вы слишком волнуетесь, тогда как вам нужен отдых.

– Мои волнения за картами пустяки; вот вредное для меня волнение, как, например, сегодня я взволновался, когда мне принесли лист моей статьи, окровавленной цензором; изволь печатать изуродованную статью! От таких волнений грудь ноет, дышать трудно!

Партнерами Белинского были не литераторы, но эти личности постоянно вертелись в кружке литераторов, который собирался у Панаева.

В начале 40-х годов мы несколько лет подряд жили на даче в Павловске, и у нас после музыки, обыкновенно, собиралось много гостей. Здесь познакомилась с Соллогубом, который только что написал «Тарантас». Эта повесть имела большой успех. Если бы Соллогуб не ломался, то был бы приятным собеседником. Но часто он был невыносим, вечно корча из себя то дерптского студента, то аристократа. В светском обществе он кичился званием литератора, а в литературном – своим графством. Если его знакомили с простым смертным, он подавал ему два пальца и на другой день при встрече делал вид, что не узнает его. Отец Соллогуба тоже бывал у нас; по манерам самой утонченной вежливости это был настоящий маркиз, и когда его писатель-сын выкидывал при нем какую-нибудь невежливость, то отец в ужасе восклицал:

«Вольдемар! это верх неприличия!» Но сын не обращал внимания на замечания своего отца. Странно было видеть меньшого брата Соллогуба, скромного, простого человека, который не заимствовал ни утонченности в манерах своего отца, ни глупой кичливости аристократизма своего брата.

⁹ *Примечание:* «Все эти мысли противны духу христианина, ибо в Евангелии сказано: «Кто любит отца своего или мать паче меня – несть меня достоин».

Бывал у нас также граф Виельгорский, полный, румяный старик, любимец императрицы Александры Феодоровны. Виельгорский был дилетант музыки, играл на виолончели и сочинял романсы; в молодости он хорошо пел. У Виельгорского постоянно бывали музыкальные вечера, и он сам участвовал в квартетах. Все знаменитые концертанты, приезжавшие давать концерты в Петербурге, сперва играли на его музыкальных вечерах, а потом уже давали публичные концерты.

Виельгорский иногда пел у нас свои романсы, а К.А. Булгаков, известный повеса того времени, садился за фортепиано вслед за ним и так искусно передразнивал его, что из другой комнаты трудно было различить, что это поет молодой человек, а не старик. Виельгорский сам аплодировал ему и смеялся от души. Булгаков был очень даровитый человек, имел большие способности к музыке, рисовал отлично карандашом и акварелью и был необыкновенно остроумен; и все свои способности он загубил, ведя ненормальную жизнь. Когда он бывал у нас с Глинкой, то за чаем оба выпивали бесчисленное число рюмок коньяку, и на них это не имело никакого влияния, точно они пили воду.

Булгакову предстояла блестящая карьера; его мать была всеми уважаемая статс-дама при дворе, сестры – фрейлины, он сам прежде вращался в высшем кругу; но Булгаков предпочел аристократическим салонам кутежи, пил с утра до утра на холостых пирушках и давно был бы переведен в армию и даже разжалован в солдаты за свои разные повесничества, если бы великий князь Михаил Павлович, которого Булгаков умел всегда рассмешить каким-нибудь каламбуром, не питал к нему особенного расположения. Если Булгакова не было видно утром на Невском проспекте, а вечером в балете, то все знали, что он посажен на гауптвахту великим князем.

В прежнее время вся царская фамилия каталась по Невскому в известные часы. Государь Николай Павлович и великий князь имели зоркий глаз: замечали малейшую небрежность в форме у офицера или солдата; даже если один из крючков на воротнике не был застегнут, то строго взыскивали с провинившегося.

Булгаков в один мартовский день явился на Невском без шинели и обращал внимание всех гуляющих своим сюртуком ярко-зеленого цвета, с длинными полами. Дело в том, что вышел приказ заменить черное сукно на военных сюртуках зеленоватым и полы сделать несколько подлиннее. Булгаков первый сделал себе новую форму, но преднамеренно утрировал ее.

Великий князь, проезжая по Невскому, заметил Булгакова, подозвал его к себе и грозно велел сесть в сани, сказав:

– Я тебя увезу к государю.

Булгаков, садясь в сани, сделал вид, что зацепился, и уткнулся носом в полость, проговорив:

– Вот что значит садиться не в свои сани! Великий князь рассмеялся и ответил:

– Так пошел, садись в свои сани и прямо поезжай на гауптвахту на Сенную.

Между офицерами считалось как бы обязанностью быть влюбленным в танцовщиц, особенно в воспитанниц театральной школы. Булгаков тоже ухаживал за одной из них и, однажды, уехал с дежурства в балет.

Великий князь неожиданно тоже приехал в театр. Он знал всегда, кто из офицеров дежурит на гауптвахте, а также кто из них ухаживает за кем в балете. Увидав в креслах Булгакова, он даже не сел, а сейчас же поехал на гауптвахту, на которой должен был находиться в карауле Булгаков. Каково же было его удивление, когда, приехав на гауптвахту, он увидел Булгакова стоявшим перед ним.

– Ты был сейчас в балете... как ты очутился здесь? – с удивлением спросил его великий князь.

– Виноват, был-с, но вы сами, ваше высочество, изволили меня привезти из театра, – отвечал Булгаков.

При этом он рассказал великому князю, что догадавшись, что великий князь поехал на гауптвахту, он выбежал из театра и успел вскочить на запятки саней великого князя.

Великий князь посадил Булгакова на месяц под арест, сказав: «Ты целый месяц не будешь в балете», – но потом смиловался и наполовину убавил наказание.

Повесничеству Булгакова не было конца. Он раз при мне на музыке в Павловске держал пари с одной моей знакомой, что пройдет сейчас же мимо нее под руку с великим князем; конечно, наше общество было уверено, что Булгаков проиграет, но он выиграл. Мы видели, как Булгаков подошел к великому князю, что-то ему сказал, и великий князь дозволил ему взять себя под руку. Булгаков сознался великому князю, что он до безумия влюблен в одну особу, что если великий князь удостоит его «пройтись мимо этой особы», то он сделает его счастливейшим человеком.

В Павловске в 40-х годах не жило такое огромное количество дачников, да и великий князь, которому принадлежал тогда Павловск, сам вычеркивал фамилии сомнительных дачниц, желавших поселиться летом в Павловске; ему подавали каждый день список лиц, нанмавших дачи весной. Публики из города приезжало мало в будничные дни, так что все обычные посетители на музыке знали друг друга в лицо и по фамилии. Часто царская фамилия приезжала из Царского Села слушать музыку и сидела в экипаже за речкой или подъезжала к самому входу сада. В эти дни на музыке собиралось много аристократической публики. Великий князь жил в своем дворце, почти каждый день был на музыке и постоянно сидел с Сверчковой, бывшей фрейлиной. У нее была выстроена в Павловске великолепная дача, принадлежащая теперь А. А. Краевскому.

Булгаков нарисовал акварелью довольно большую картину, где в карикатуре были изображены все обычные посетители музыки, в том числе и великий князь, стоящий спиной, а возле него в уменьшенном виде изображена на цыпочках Сверчкова с ее язвительной улыбкой. Между прочими был очень смешон гр. В. А. Соллогуб с важной гримасой и со стеклышком в глазу. Тогда только что появилась мода носить стеклышко, и Соллогуб носил его, закинув голову назад и смотря на всех величаво-презрительно. Ив. Ив. Панаев был тогда очень худ, и Булгаков сделал ему ноги не толще карандашей, а возле него поместил гр. М. Ю. Виельгорского с большим животом. Булгаков изобразил и себя в карикатуре. Все были так похожи, что можно было сейчас же узнать даже тех, кто были нарисованы стоящими спиной. Сверчковой донесли, что Булгаков нарисовал на нее карикатуру, она обиделась и потребовала уничтожения картины. Великий князь приказал Булгакову самому привезти картину к себе. Прежде чем исполнить это, Булгаков сделал перемену в картине: он придал Сверчковой ангельскую улыбочку, приделав ей прозрачные крылышки к спине, так что она походила на эльфу, собирающуюся улететь;

Булгаков знал, что Сверчкова претендует на воздушность своей фигуры. Великому князю так понравилась картинка, что он ее оставил у себя.

В 1842 году у нас часто собирались по вечерам обыкновенные и «светские» литераторы; к светским я причисляю Соллогуба, Одоевского, Соболевского и Башуцкого. Наружность Башуцкого, в прилизанном черном парике, с румяными щеками и большими серо-голубоватыми глазами, оставалась неподвижна, когда он говорил скоро и явственно, а слог его речи был так правилен, что можно было отличить все знаки препинания; он не запинаясь ни на одном слове, точно говорящий автомат. Зато Соллогуб резко отличался от него своими небрежными манерами, растягиванием слов и рассеянным видом.

Белинский был очень доволен, что я иногда обрывала Соллогуба, если он с нашими не светскими гостями позволял себе быть невежливым. Странно, Соллогуб вовсе не был так глуп, чтобы не понимать, как смешно кичиться своим аристократизмом. Он, в сущности, был доб-

рый человек; если его просили похлопотать о ком-нибудь, то он охотно брался за хлопоты и радовался в случае успеха. В характере Соллогуба была хорошая черта, – он никогда не передавал никаких сплетен, тогда как многие литераторы лишены были этого хорошего качества. Соллогуб после женитьбы ударился в другую крайность: он сделался студентом-буршем, не стыдился уже говорить о своих плохих средствах к жизни, которые прежде скрывал, и часто повторял фразу, когда касались денежных трат:

– Ну, куда нам с генералами чай пить!

Глава 5. Тургенев – Некрасов – Женитьба Белинского – Аполлон Григорьев – Варламов – Булгарин – Межевичи

Если не ошибаюсь, в 1842 году я познакомилась с Тургеневым, который также жил летом на даче в Павловске. Он только что начал свое литературное поприще. На музыке, в вокзале, он и Соллогуб резко выделялись в толпе: оба высокого роста и оба со стеклышками в глазу, они с презрительной гримасой смотрели на простых смертных. После музыки Тургенев очень часто пил чай у меня.

У Панаева развелось столько знакомых в Павловске, что он редко приходил домой с музыки. Тургенев занимал меня разговором о своей поездке за границу и однажды рассказал о пожаре на пароходе, на котором он ехал из Штетина, причем, не потеряв присутствия духа, успокаивал плачущих женщин и ободрял их мужей, обезумевших от паники. В самом деле, необходимо было сохранить большое хладнокровие, чтобы запомнить столько мелких подробностей в сценах, какие происходили на горевшем пароходе.

Я уже слышала раньше об этой катастрофе от одного знакомого, который тоже был пассажиром на этом пароходе, да еще с женой и с маленькой дочерью; между прочим, знакомый рассказал мне, как один молоденький пассажир был наказан капитаном парохода за то, что он, когда спустили лодку, чтобы первых свезти с горевшего парохода женщин и детей, толкал их, желая сесть раньше всех в лодку, и надоедал всем жалобами на капитана, что тот не позволяет ему сесть в лодку, причем жалобно восклицал: «*mourir si jeune!*» (умереть таким молодым!).

На музыке я показала этому знакомому, – так как он был деревенский житель, – всех сколько-нибудь замечательных личностей, в том числе Соллогуба и Тургенева.

«Боже мой! – воскликнул мой гость, – да это тот самый молодой человек, который кричал на пароходе «*mourir si jeune!*». Я была уверена, что он ошибся, но меня удивило, когда он прибавил: «у него тоненький голос, что очень поражает в первую минуту, при таком большом росте и плотном телосложении».

Мне все-таки казалось невероятным, чтоб это был Тургенев, но через несколько времени я имела случай убедиться, что Тургенев способен к импровизации.

Идя в темный вечер домой с музыки, надо было переходить дорогу, а из ворот, которые ведут из вокзала в город, неожиданно выехала карета. Сделалось смятение; многочисленное общество дам и кавалеров, шедшее впереди нас, разделилось на две части: одна успела перебежать через дорогу, а другая осталась с нами, и одна дама вскрикнула от испуга, перебегая дорогу. Карета проехала, и мы спокойно продолжали свой путь. На другой день, на музыке, я шла в толпе по аллее; впереди меня шел Тургенев с дамами и рассказывал им, что он, будто бы вчера, спас какую-то даму, которую чуть не задавила карета, остановив лошадей; будто бы с дамой сделалось дурно, и он на руках перенес ее и передал кавалерам, которые рассыпались в благодарностях за спасение их дамы. Когда я стала стыдить Тургенева, зачем он присочинил небывалую историю, то он мне на это ответил, улыбаясь: «Надо было чем-нибудь занять своих дам».

С этих пор я уже не верила, если Тургенев рассказывал о себе что-нибудь. Он в молодости часто импровизировал и слишком увлекался. Иногда Белинский с досадой говорил ему:

– Когда вы, Тургенев, перестанете быть Хлестаковым? Это возмутительно видеть в умном и образованном человеке.

Тургенев остерегался при Белинском увлекаться в импровизации и искал более снисходительных слушателей.

От Белинского Тургеневу досталась сильная головомойка, когда дошло до его сведения, что Тургенев в светских дамских салончиках говорил, что не унизит себя, чтобы брать деньги за свои сочинения; что он их дарит редакторам журнала.

– Так вы считаете позором сознаться, что вам платят деньги за ваш умственный труд? Стыдно и больно мне за вас, Тургенев! – упрекал его Белинский.

Тургенев чистосердечно покаялся в своем грехе и сам удивлялся, как мог говорить такую пошлость.

Белинский для своего кружка был нравственной уздой, так что после его смерти все, как школьники, освободясь от надзора своего наставника, почувствовали свободу. Им более не нужно было идеализировать перед Белинским свои поступки, которые на деле были далеки от идеальности, или впадать в самобичевание своих слабостей.

У Тургенева в молодости была слабость к аристократическим знакомствам и он, бывало, все уши прожужжит, если попадал в светский салон. Он также во всеулышание рассказывал, когда влюблялся или побеждал сердце женщины. Впрочем, последней слабостью страдали в кружке почти все, хвастались своими победами, и часто опозитизированная в их рассказах женская страсть вдруг превращалась в самую прозаическую денежную интрижку. Но иногда их болтливость о сердечных тайнах порядочных женщин влекла за собой печальные последствия.

Панаев упоминает в своих воспоминаниях о том, как Тургенев знакомил Белинского с английской и немецкой литературой, сообщая ему все, что выходило хорошего за границей. Пока Белинский не достиг того, что мог свободно сам читать по-французски, Панаев переводил для него целые тетради из Ламартина, Луи-Блаза и др.

В начале сороковых годов по утрам в праздничные дни к Панаеву приходил правовед Иван Сергеевич Аксаков и читал ему свои стихи. Панаев с большим сочувствием относился к юному поэту. Он познакомил его с Белинским, который поощрял юношу к литературной деятельности и находил, что Иван Сергеевич Аксаков гораздо умнее и талантливее своего брата Константина. Белинский раз, по уходе Ивана Сергеевича, сказал:

– Ах, если бы побольше было таких отцов у нас в России, как старик Аксаков, который сумел дать такое честное направление своим сыновьям, тогда бы можно было умереть спокойно, веруя, что новое поколение побольше нашего принесет пользы России.

Первый раз я увидела И. А. Некрасова в 1842 году, зимой. Белинский привел его к нам, чтобы он прочитал свои «Петербургские углы». Белинского ждали играть в преферанс его партнеры; приехавший из Москвы В. П. Боткин тоже сидел у нас. После рекомендации Некрасова мне и тем, кто его не знал, Белинский заторопил его, чтоб он начал чтение. Панаев уже встретился с Некрасовым где-то.

Некрасов, видимо, был сконфужен при начале чтения; голос у него был всегда слабый, и он читал очень тихо, но потом разошелся. Некрасов имел вид болезненный и казался на вид гораздо старше своих лет; манеры у него были оригинальные: он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опять опускал. Этот машинальный жест так и остался у него, когда он читал свои стихи.

Белинский уже прочел «Петербургские углы», но слушал чтение с большим вниманием и посматривал на слушателей, желая знать, какое впечатление производит на них чтение.

Я заметила, что реальность «Петербургских углов» коробит слушателей.

По окончании чтения раздались похвалы автору. Белинский, расхаживая по комнате, сказал:

– Да-с, господа! Литература обязана знакомить читателей со всеми сторонами нашей общественной жизни. Давно пора коснуться материальных вопросов жизни, ведь важную роль они играют в развитии общества.

На эту тему Белинский говорил довольно долго. Сели за преферанс, и Некрасов всех обыграл, потому что его партнеры были плохие игроки. Проигрыш всех не превышал трех рублей. Белинский сказал Некрасову:

– С вами играть опасно, без сапог нас оставите! По уходе Белинского и Некрасова В. П. Боткин начал ораторствовать. Он считался в кружке за тонкого ценителя всех изящных искусств. Боткин развивал мысль, что такую реальность в литературе нельзя допускать, что она зловредна, что обязанность литературы развивать в читателях эстетический вкус и т. п.

Перешли и к внешности автора, подтрунивали над его несветскими манерами, находили, что его литературная деятельность низменна, – Некрасов переделывал французские водевили на русские нравы с куплетами для бенефисов плохих актеров, вращался в кругу всякого сброда и сотрудничал в мелких газетах.

На другой день, за обедом у нас, у Белинского с Боткиным произошел горячий спор о Некрасове. Белинский возражал Боткину.

– Здоров будет организм ребенка, если его питать одними сладостями! – говорил Белинский. – Наше общество еще находится в детстве, и если литература будет скрывать от него всю грубость, невежество и мрак, которые его окружают, то нечего и ждать прогресса.

Когда коснулись низменной литературной деятельности Некрасова, то Белинский на это ответил:

– Эх, господа! Вы вот радуетесь, что проголодались и с аппетитом будете есть вкусный обед, а Некрасов чувствовал боль в желудке от голода, и у него черствого куса хлеба не было, чтобы заглушить эту боль!.. Вы все дилетанты в литературе, а я на себе испытал поденщину. Вот мне давно пора приняться за разбор глупых книжонок, а я отлыниваю, хочется писать что-нибудь дельное, к чему лежит душа, а нет! надо притуплять свой мозг над пошлостью, тратить свои силы на чепуху. Если бы у меня было что жрать, так я бы не стал изводить свои умственные и физические силы на поденщине... Я дам голову на отсечение, что у Некрасова есть талант и, главное, знание русского народа, непониманием которого мы все отличаемся... Я беседовал с Некрасовым и убежден, что он будет иметь значение в литературе. У вас у всех есть недостаток, – вам нужна внешняя сторона в человеке, чтобы вы протянули ему руку, а для меня главное – его внутренние качества. Хоть пруд пруди людьми с внешним-то лоском, да что пользы-то от них?!

Боткин стоял на своем, что грубого реализма в литературе нельзя допускать.

Некрасов очень редко бывал у нас в эту зиму, но зато виделся часто с Белинским и стал писать разборы в отделе библиографии «Отечественных Записок».

Раз вышла очень смешная сцена. Боткину очень понравился разбор одной книги в библиографии, и он говорил: «Тонко, умно Белинский разобрал книгу, живо, остроумно, прекрасно!» – и при свидании стал хвалить Белинскому его разбор.

– Находите, тонко, остроумно я написал? – спросил его Белинский.

– Прелестно, изящно! – отвечал Боткин. Белинский рассмеялся и сказал:

– Передам вашу похвалу Некрасову, это он разобрал книгу.

В эту зиму Панаев познакомился где-то с Марковичем, приехавшим в Петербург делать себе карьеру. Он был замечательно красив собой и сознавал это. О литературе тогда он и не помышлял, все его помыслы были сосредоточены на том, чтобы попасть в высший светский круг. Кроме красивой наружности, Маркович имел светскую полировку. Его взяла под свое покровительство одна придворная старушка Т. Б. Потемкина, игравшая видную роль в аристократическом кругу, и Маркевич сделался бальный танцором, получал приглашения на балы в высшем обществе. Ему страшно хотелось попасть на бал к княгине Е. П. Белосельской; на ее балах всегда присутствовали государь и наследник и самое избранное аристократическое общество. Маркович часто бывал у Панаева и рассказывал ему о своих успехах в светском кругу. Он прибежал, весь сияющий, чтобы показать ему пригласительный билет на бал от Бело-

сельских. В день бала он спозаранку приехал к нам в бальном туалете и поминутно посматривал в окна, начинается ли приезд экипажей. Мы жили против дома князей Белоседьских. Увидав карету какого-то посланника, он решил, что теперь может тоже сесть в наемную карету и переехать улицу, стал натягивать перчатки и, вдруг, о ужас! одна перчатка лопнула. Его школьный приятель, принимавший большое участие в успехах Марковича в светском кругу, поскакал за перчатками, а Маркович страшно волновался и, чуть не плача, глядел в окно и с ужасом говорил: «Боже мой, такая вереница экипажей уже стоит на улице, и мне придется целый час сидеть в карсте, дожидаясь очереди». И точно, долго пришлось Маркевичу ждать, когда дошла до него очередь.

Денежные средства его были очень ничтожные для светского молодого человека, и я не знаю, откуда он их добывал. Впрочем, его школьный приятель очень был богат, сам не порывался в высший круг и всей душой желал, чтобы его друг сделал себе блестящую карьеру по службе и в высшем кругу. Но вскоре его друг уехал на Кавказ и там был убит. Марковичу не удалось себе сделать карьеру в Петербурге, он переехал в Москву, служил у генерал-губернатора А. А. Закревского, сделался домашним человеком в его семействе и вращался в высшем московском кругу. Но и в Москве не удалась ему служебная карьера, и тогда уже он сделался литератором.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.